

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ 7 1982

10335
1989/9





Ежемесячный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

Издается с июня 1957 года

СОДЕРЖАНИЕ

НОДАР ДУМБАДЗЕ. Коммунист 3

ПОЭЗИЯ

ИОНА ВАКЕЛИ Стихи. Перевод Льва Озерова 7

ХУТА ГАГУА. Стихи. Перевод Владимира Солоухина и Юрия Ряшенцева . 48

БИДЗИНА МИНДАДЗЕ. Песня сочувствия. Поэма. Перевод Владимира Дагурова . 98

ПРОЗА

ОТИА ИОСЕЛИАНИ. Черная и Голубая река. Роман. Окончание. Перевод И. Борисовой 10

ГУРАМ КАПАНАДЗЕ. Рассказы. Перевод Кирры Вольфензон 58

ЭЛИЗБАР УБИЛАВА. Хранитель сокровищ. Документальная повесть. Окончание. Перевод А. Маргвелашвили 105

7

1982

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

На переднем крае литературы. (Обсуждаются проблемы романа). Окончание	145
ГУРАМ АСАТИАНИ. О грузинском. Перевод Виктории Зининой	176
ЕВГЕНИЙ СИДОРОВ. Вторая колыбель. К 50-летию Евгения Евтушенко	187

РЕЦЕНЗИИ

АЛЕКСАНДР ЭБАНОИДЗЕ. Своим голосом	191
Л. ДОЛИДЗЕ. Преодолевая, побеждать	193

ИСКУССТВО

НИНА ГЕТАШВИЛИ. Под знаком графики. О персональной выставке работ заслуженного художника Грузинской ССР Мамия Малазония	195
ГУБАЗ МЕГРЕЛИДЗЕ. Характеры и судьбы. Пьеса Гельмана в театре им. Руставели	205

ПАМЯТИ ГУРАМА АСАТИАНИ	210
ХРОНИКА	221
ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА	223

Нодар ДУМБАДЗЕ

КОММУНИСТ

Вряд ли найдется в мире другое слово, которое в свое время подверглось бы стольким преследованиям и притеснениям, как слово коммунист. И, наверное, нет на свете человека, кроме названного этим словом, на чью долю в свое время выпало бы столько ударов судьбы, бедствий и мук.

Но слово и человек оказались неслыханной и невиданной дотоле породы.

Коммунист...

С одинаковой стойкостью он одолел вечную мерзлоту сибирской земли и раскаленные пески пустыни, он не сгорал в огне и не тонул в волнах бушующего океана.

В пору тяжелейших испытаний он не покорялся, а закалялся, закалялся, закалялся.

И как сказочный столбистик, разрастался он не по дням, а по часам и за какие-то шестьдесят лет зашумел на одной шестой земного шара несокрушимой, могучей дубравой, да еще пустил корни во всех странах мира.

За эти годы коммунист приобрел безграничные привилегии. В чем же они состоят, эти привилегии?

Если кто-то должен встать на баррикады революции и погибнуть за правду, то прежде всех коммунист!

Если кто-то должен взойти на эшафот, защищая честь и достоинство Родины, то прежде всех коммунист!

Если кто-то голоден, то поделиться своим куском хлеба с ним должен прежде всех коммунист.

ბ. დუმბაძის ნაშრომები
სსრკ სახელმწიფო ბიბლიოთეკა
თბილისი

Умирающему от жажды свой глоток воды прежде всего обязан отдать коммунист.

И если кому-то угрожает вражеская пуля, то заслонить его собственной грудью должен именно коммунист.

Вот каких привилегий достиг коммунист за недолгий период своей истории, будучи сначала лишь понятием, потом личностью, олицетворяющей это понятие, затем государством и в конце концов верованием, величайшей верой!

Иначе для меня остались бы необъяснимыми тайна самопожертвования старого поколения большевиков, поведение Корчагина и Зои, самоотверженность Матросова и Гагарина, героическая эпопея Сталинграда, Севастополя и Ленинграда. Осталась бы нераскрытой тайна того, как за шестьдесят пять лет слово «коммунист» превратилось в синоним героизма, подвига, дружбы, справедливости, простоты, прямоты, непримиримости, порядочности, добра и нравственной чистоты, тайна мужественного преодоления все новых и новых преград, которые выдвигает жизнь.

Но всегда, во все времена главным девизом коммунистов, их архимедовым рычагом было: все во имя человека, все для блага человека. И в наши дни это проявляется с еще большей очевидностью.

«Чем более зрелым становится наше общество, — отмечал Л. И. Брежнев, — тем больше внимания мы можем и должны уделять повседневным нуждам трудящихся — жилью, питанию, сфере обслуживания, здравоохранению и образованию — всему, что определяет как благополучие, так и настроение человека».

Благополучие советских людей, интересы всего народа и каждого человека в отдельности — вот чем живет наша партия коммунистов. Вот о чем все ее помыслы и чаяния.

И народ отвечает своему боевому авангарду безграничным доверием — самым бесценным капиталом нашего общества, залогом его будущих успехов.

А жизнь между тем задает коммунистам очередные задачи, словно проверяя их на прочность.

Серьезную проверку проходят сегодня и коммунисты Грузии. Стихия безжалостно обрушилась на нашу республику: вышли из берегов река Риони и ее притоки.

Наводнение лавиной ринулось на сельскохозяйственные угодья, смывая все на своем пути.

Пострадала не только земля в долине, пострадал город Чиатура, были затоплены окрестности Кутаиси и Самтредиа, не говоря о Зестафони, где рекой снесены пять мостов, разрушены дороги, в районе погибли земли и корма для скота, уничтожен ряд торговых предприятий.

Но экзамен, предложенный природой, продолжался.

Ураганные ветры и ливневые дожди с градом в течение трех суток бушевали в Кахетии, в Каспском, Душетском, Мцхетском, Горийском и других районах Грузии. Повреждены виноградники и сады, посевы овощных и кормовых культур.

И снова, используя свою привилегию, на переднюю линию фронта борьбы со стихией становятся коммунисты. Прикладывая героические усилия, они личным примером поднимают всю республику для оказания помощи пострадавшим. «Брат братом силен» — было написано на бортах машин, везущих в пострадавшие районы продукты, корма, медикаменты.

Правительственной комиссией, созданной Центральным Комитетом Компартии Грузии, предприняты чрезвычайные меры по ликвидации последствий стихийного бедствия, спасению урожая.

В колхозах и совхозах, подвергшихся бедствию, на помощь виноградарям выходит все население. Заботливые руки подрезают и удаляют поврежденные побеги лозы, опрыскивают насаждения, перепахивают и засевают поля.

Коммунистическая закалка помогает быстро преодолевать урон, причиненный стихией, делать все для того, чтобы осень снова была щедрой.

И она непременно будет щедрой! Потому что весь наш народ, и в первую очередь коммунисты, с воодушевлением, как родное, кровное дело воспринял Продовольственную программу СССР, одобренную и принятую на майском (1982 г.) Пленуме Центрального Комитета КПСС. Конечная цель Продовольственной программы — производство высококачественных продуктов питания и доведение их до потребителя.

Сегодня это важнейшая составная часть экономической стратегии нашей Коммунистической партии. А она ставит задачу: используя возросший экономический потенциал страны, обеспечить в возможно сжатые сроки устойчивое снабжение населения всеми видами продовольствия, существенно улучшить структуру питания советских людей за счет наиболее ценных продуктов. Продовольственная программа — это не только коренной поворот в подъеме сельского хозяйства и связанных с ним отраслей. По своему характеру, масштабности она призвана обеспечить прогресс всего народного хозяйства.

На нынешнем этапе — это одна из главнейших задач, которую поставили перед собой коммунисты. Она отвечает коренным жизненным интересам советских людей.

А все, что задумано коммунистами, будет выполнено.

Такая уж это удивительная порода людей — коммунист.

Иона ВАКЕЛИ

НЕ ПОПРЕКАЙ МЕНЯ...

Не попрекай меня, моя страна,
Твой каждый уголок волнует кровь,
Моя страна... Как хороша она,
Моя земля, моя любовь!

Вся — виноградник, сад, вся — лес густой,
Вся — чудо из чудес, вблизи, вдали.
Вот скачет конь, а вот — за высотой
Слежу, и там — цепочкой — журавли.

С младенчества трудна мне жизнь была.
Я правде, не таясь, глядел в глаза.
Спешил творить я добрые дела,
Но мало кто спасибо мне сказал.

Прибежища нигде не находил,
Мою лачугу застилала тьма.
Я выбивался из последних сил,
И стыла кровь, хотя прошла зима.

Не покоряясь горестной судьбе,
Я знал, что бремя тяжкое несу,
И, предоставлен самому себе,
Я рос, как та ольха растет в лесу...

Не попрекай меня, моя страна,
Твой каждый уголок волнует кровь,
Моя страна... Как хороша она,
Моя земля, моя любовь!

ПЕСНИ УКРАИНЫ

Украину мы так полюбили —
Землю, песни, легенды и были.
Там покоится Гурамишвили.

Переводы выполнены по заказу Главной редакционной коллегии по делам художественного перевода и литературных взаимосвязей при СП Грузии.

Лесю в наших краях не забыли —
Соловьи ей поют в изобилье.
Украину мы так полюбили...

Помним посвист военной метели,
Песнь Шевченко и песнь Руставели,
Песню матери у колыбели.
Как мы пели совместно, как пели! —
Нам одни небеса голубели
И одни породнили нас цели.

Как поешь ты легко, соловьино!
Как едины гора и равнина!
Как дружны виноград и рябина!
Слушай слово у старого тына,
Слово Грузии верного сына:
Хай живе, хай живе Украина!

МАДОННЫ

Здесь собирают чай на ранней рани
Мадонны — гордость неба и земли.
Их лица Рафаэль и Пиросмани
До наших дней так дивно донесли.

Мадонны и Мананы быстроруки,
Работою заполнены их дни,
И все же ни усталости, ни скуки,
Как вижу я, не ведают они.

Уже и солнце высоко в зените,
Уже и день прошел, и скоро ночь.
Устали? Не стесняйтесь, отдохните.
Немолод я, но вам смогу помочь.

КОЛОКОЛА

Когда звонят колокола
И свадебная колесница
Так радостно и так легко
Вечернею дорогой мчится,
И всех шатает озорство,
И весел молодой возница, —
С такою радостью земной
Что может в этот миг сравниться!

Приехали... И звон, и гром,
И двор подобен вешней буре,
И смех, и хлопанье ладош,
И эта пляска под пандури,
И факелы, и гордый род,
Не знающий тоски и хмури,
Гостеприимство здесь царит,
А бодрость свойственна натуре.

Пройдут года, — колокола
Запричитают по-другому,
И весть печальная о смерти
Потянется от дома к дому.
Жена над мужем в горький миг
Узнает тяжкую истому.
Звонят, звонят колокола
В последний раз, подобно грому.

НАШИ ЧАСЫ

Как скучен день иной, но ко всему
Привыкнет наше естество людское,
И сердце радо персику тому,
Что возвращает к свету и покою.

Мы что ни миг — у пропасти над краем,
Мы что ни час — у взлетной полосы.
Как много значит то, что мы не знаем,
Когда же остановятся часы.

МОЕ ПЕРО

Ты не куплено мной и не продано мной,
Ты испытано в битвах — народный дар.
Между прошлым и будущим мост стальной,
Одним — отрада, другим — удар.

Не завидуй тому, кто к злату приник,
Кто только звону монетному рад,
Пусть любовь людей и доверье их
Будут лучшей наградой из всех наград.

Перевод Льва ОЗЕРОВА



Черная

и Голубая

река

— Как тут ляжешь? — проговорил удивленно Кудрявцев, вытянувшись над окопом. — Пропал человек и концов не оставил.

— Расстреляю! — грохнуло взорвавшимся снарядом, и все на миг смолкли, но до тех, кого придавило землей, донеслось причитание:

— Ой... Бра-а-а-а-т!

— От, дьявол, куда же он провалился, искать где теперь? — запричитал Бокерия.

Ношреван, растекшийся кашей, а тут еще воздуха не глотнешь, трепыхнулся бессильно и, чудом ворочая языком, протянул:

— Мамука-а! Я убит?

— А второй-то где? Амаглобели? — вскрикнул Цинцадзе.

— Амаглобели! — завопил Бокерия. — Я же возле тебя только что проползал!

От края окопчика отползли, а может быть Ношревана выплеснули обратно, — только вдавленный

Окончание. Начало см. в №№ 5 и 6.

в самое дно Мамука вдруг оказался один, и, прежде чем котел завалило землей, он успел глотнуть воздуха.

— Тут он, этот мерзавец! — всхлипнул Бокерия.

— Жив нечестивец! — просипел Ладо, у которого опять что-то застряло в горле, только покрепче, чем от страха за Ношревана.

Кто-то сверху схватил Мамуку за шкуру, выдрал втиснутую между ботинок голову, едва не сломав позвоночник, и потащил кверху.

— Гляньте, и второй тут! — обрадованно прохрипел Цинцадзе и вырвал у Юдина, растянувшегося на краю окопа, извлеченного из могилы синюшного парня.

— Душа-то в них еще держится? Живы? Ты? И ты? — как вдова над мужниной могилой, ронял крупные слезы Бокерия.

Выкарабкавшись из могилы и едва переведя дух, Мамука взглянул на то место, где до этого судного дня обитал Ношреван: там теперь мог уместиться не только котел с Ношреваном, но вся колоссальная зала семейства Ардадзе. Снаряд угодил прямо в окоп Ношревана.

— В окопы, сопляки! Танки! В окопы немедленно! — заорали надрывно, и тут же загрохотало опять, и, как перепуганных мышат, вмиг размело всех по норам, лишь Ношреван, чудом спасшийся, но оставшийся без норки, едва не был разорван Бокерия и Цинцадзе. То ли Ладо одолел наконец, то ли окоп его был поближе, но Автандил отполз с пустыми руками и, одним рывком выдернув из полузасыпанного окопа нырнувшего туда Мамуку, оттащил его в свой окоп.

А солнце бесстыдно вкатилось на небо и щедро слало лучи и цветам, и отбросам.

— Т-т-тогда хоть на фронт отпустите! — наткнувшись возле полевой кухни на капитана Мацхонашвили, Леон твердо преградил ему путь.

— Это вы, Амаглобели?

— П-помогите мне, Шалва...

— Но ты ж не в моем батальоне, — капитан попытался ускользнуть от этого странного малого с котелком горячей каши в руках.

— С-с-с-колько мне тут сидеть?

— А ты в каком батальоне, Амаглобели? — спросил Мацхонашвили, нервно подрагивая ногой, и на его губах проступила непрощеная улыбка.

— Какое это имеет значение?

— Ты, Амаглобели, не знаешь законов военного времени, — капитан позволил себе улыбнуться.

— К-к-какие з-з-законы? В-в-война!..

— Вот сейчас-то самое время их знать! — капитан поставил ногу на бочку из-под селедки и раскрыл перед Леоном серебряный портсигар.

— Н-н-не курю...

— Закуривай, закуривай...

— Мне это м-м-м-ожет помочь?

— Я был на финской, Амаглобели.

— Меня Леоном з-з-зовут.

— Мы ж с тобой в армии — или забыл?

— А имя при чем?

— По имени-отчеству или там «дорогой мой» — это все после. А сейчас у тебя каша вон стынет...

— Ну и ладно...

К губам капитана опять подкралась улыбка.

— Мы однажды — на финской был случай — четыре дня без крошки во рту сидели, а на пятый, глядим, на том берегу озера наши из лесу вышли, продовольствие привезли...

— Война сейчас не финская — с Герм-м-манией...

— Думаешь, мне язык почесать охота пришла?

— Н-н-нет, не думаю.

— Тогда слушай, что тебе говорят!

— Я здесь не останусь.

— Не останешься, значит... А мы, четыре дня не евши, пытались перебраться на тот берег по открытому как зеркало льду ради такого вот куска хлеба, какой ты сейчас держишь.

— Там один из нашей деревни п-п-погиб.

— Был у нас один грузин.

— Л-а-ц-абидзе!

— Анзор...

— Яс-с-сонович!

— Ясонович.

— Быть не может...

— Вот, вот... И где только не встречаются люди, — под широкой верхней губой спряталась нижняя, и охота разговаривать у капитана пропала.

— За кусок хлеба?

— Он не тогда погиб, но какая разница? Двух у нас убило тогда...

— Я б вообще не ел...

— Война! — покачал головой Мацхонашвили. — Помню, один у нас... с котелком, держал не держал, а так поставил между колен, а сам под елкой сидит. Пальнули — откуда, поди угадай, лоб продырявили, но интересно не это... Главное, что, когда его поднимали, так уж старались, котелок чтоб не шелохнулся.

— Ч-ч-человека убило, а этого, окаянного... — котелок плюхнулся оземь, капли жидкой каши поползли по сапогу Мацхонашвили, и улыбка опять тронула безусую верхнюю губу.

— А были они ничем нас с тобой не хуже, и души в них было не меньше...

— Тогда разве это в-в-война?

— Война, как есть война, друг мой Леон... А ты думаешь, война это только окопы рыть и штыком колоть? Потому-то и не торопись... Скоро и этому час придет, к сожалению.

— Какой там с-с-скоро придет, вон уже сколько вытоптал...

— Что поделаешь, время всему свое место отыщет! — капитан отбросил окурок и, отломив ветку с дерева, стал сметать с бочки листья.

— А Л-л-лацабидзе?

— Лацабидзе, по-моему, пал, когда укрепленный пункт брали, какой — не скажу точно.

— Разве ты не был рядом?

— Был... Совсем рядом...

— И?..

— И... думаешь, раз ты рядом, так все у тебя как на ладони?

— А глаза на что?

— И глазам видно, и ушам слышно, а ничего не слышишь и не видишь ничегошеньки...

— А п-п-похоронили где, помнишь? Я б отцу его написал...

— Помню ли? Да? -- та незваная улыбка снова подобралась было к губам, но Шалва наконец-то с ней сладил.

— М-м-могила...

— Могила где?

— Забыл?

— Я не мог позабыть, чего знать не мог, как тут запомнишь, когда никакой могилы и не было.

— Покойник без м-м-могилы?

— Думаешь, у нас время было рыть могилы и слезы лить, когда сам на мушке и не знаешь, где ту щель найти, чтоб под землю влезть.

— Но ведь п-п-покойник это покойник?

— Покойник он покойник и есть, и ему уже не можешь, вот это-то нам было известно, и потому...

Улыбка опять собралась пробежать над верхней губой, но капитан опять отогнал ее, как противника.

— Что же, и п-п-похоронить не дает?

— Ни похоронить, ни поминки справить не дает,— заликовала улыбка, и капитан сдался.

— У меня р-р-ребенок, не родившись, погиб, и то я думал, иссохну совсем...

— Как? — не понял Шалва.

— Вот так, у жены...

— Выкидыш?

Леон покраснел.

— ...а он мужчину не дает похоронить... Они что, не л-л-люди?

— Люди есть люди, а война есть война! — капитан спустил ногу с бочки и хлестнул веткой по голенищу. — Об этом чего говорить... во-первых, сам все увидишь, а во-вторых, не думай, что война это стишки, которые в книжке печатают... Я считаю, боец должен знать, на фронте не шашлыком угощают.

— Значит, так и нельзя?

— Опять двадцать пять...

— Так ведь если дело нелегкое, без нас еще трудней будет?

— Может, ты и прав, но знать надо...

— Про котел с кашей?

— Как убитого убрать, чтобы котелок не опрокинуть, — этому тебя там обучат.

— Н-н-не обучусь.

— Ту войну с этой сравнивать нечего. Здесь мы и похуже чему обучимся... Заходи лучше к нам в воскресенье. — Капитан поправил портупею и пошел, пощелкивая прутиком по толенищу.

— До воскресенья сидеть тут?

— Может быть, и протянем.

— А я уйду...

Капитан ушел, не оглянувшись. На его пухлой верхней губе поигрывала улыбка многоопытного человека, которому известно даже то, что в подобные времена не смеются.

Упершись локтями в жесткие нары, в раскрытой на середине общей тетради Бакури писал Каплану Гасвиани из Гелгети.

После расспросов о здоровье и пожеланий благополучия ему предстояло рассказать о вороном, рассказать очень много, но когда он добрался до дела, выяснилось, что сказать нечего. О том, что они устроились хорошо и конь с ним, он написал сразу, как только они расположились здесь, однако подробней писать было трудно, поскольку в лошадях он не понимал ничего, а каплановского коня видел только в вагоне в тот первый день и все.

Да еще Бесо запропастился куда-то.

Но если Бесо и знает толк в лошадях, то знает лишь то, что ему знать надо для дела. Он знает ту лошадь, что выросла у него на глазах, а спроси его про повадки и нрав лошадей — он не ответит, когда заартачится лошадь, если упряма, что может ее напугать, и она понесет, и отчего снова сделается покойна и весела. До сих пор Бакури не может поверить, что лошади не ложатся, хотя много раз он об этом слышал и ни разу не видел лежащую лошадь. Лошадь у Бесо не знала вкуса свежего сена, куска сахара даже в глаза не видала, зимою ее отпускали на волю и она гуляла сама по себе, а нужно будет тягло — ее находили.

Дымя самокруткой, Бесо уселся на пустые нары против Бакури.

— Достал? — Бакури не поднял глаз от тетради.

— Достал. Закуришь?

— Давай. Где целый день пропадал?

— Так ведь воскресенье, черт побери... — Кладнул крепкими зубами Бесо.

— Воскресенье... а раз воскресенье, стало быть, и затеянику тому — передышка, а захочется поразвлечься, он и сегодня затеет свое...

— Надоел ты мне с ним, с этим затеяником, ей-богу. Все мозги просверлил, вот ученый народ... Грузина тут одного повстречал, в командирах. Мацхонашвили зовут. Перекинулись парой слов. Тут, говорит, еще грузин есть, вечером звал заходить, может, говорит, тот тоже придет...

— Ни один командир, грузин он там, не грузин, тебе не поможет, Бесо, у тебя свои командиры есть.

— Комроты не появлялся? — сквозь зубы бросил Кинцурашвили, принимаясь искать веник и ведро с прохудившимся дном.

— На губу тебя. А куда Семичастному деться? Правду скрыть?

— А и вступился бы, этот все равно бы мне не спустил, — Бесо пожевал самокрутку и сплюнул.

— Чего тут у вас развели — Климов блажил — казармы тут или свинарник?

— А пошел он псу под хвост и к свиньям зараз, — буркнул Кинцурашвили и на своих сильных онемевших ногах поволокся в дальний угол казармы. — Пусть велит: сажень дров наколю, крутить мельницу стану, но мести-убирать — не по мне это дело.

— Зато мы с Горбатовым дров накололи и котлы вычистили.

— Это который Горбатов? Из третьего отделения? Слоняется, как лунатик... — процедил Бесо сквозь зубы и оглянулся.

— Это которого лихорадка бьет через день, — покачал головой Бакури. — В том-то и радость вся... а то если б ты дров наколол, а Горбатов чистой тряпичкой стекла тер или я стенгазету расписывал — той несусветицы не получилось бы, и веселья тут ни на грош.

Бесо извлек откуда-то веник и тряпку.

— Веник ладно, а тряпка зачем? Сам знаешь, дома у нас пол земляной, — поскрипывая зубами, Кинцурашвили принялся за уборку. — Я с ним двух слов сказать не успел, а вы взъелись, — медведем-подран-

ком промышчал Бесо. — Он, видишь ты, в финскую воевал...

— Кто?

— Мацхонашвили этот.

— Ну и что он рассказывает?

— Такое творилось! Не приведи господь!

— Ему лучше б язык за зубами держать.

— Он капитан.

— Они все для меня на одно лицо... Что мне ему написать, а, Бесо?

— Кому?

— Да Гасвиани этому, односельчанину твоей матери.

— Мне и заботы только, что ему написать, я вон не знаю, что со всем добром этим делать...

— Сперва веник намочи, а то такую пылицу поднимешь, тут уж не губой запахнет...

— Расстреляют? — взревел Бесо и отшвырнул веник.

— А ты не бесись, все равно — как должно быть, так и будет оно.

— А как должно быть? Раз ты знал, что Климов обход будет делать, почему не сказал? Я б тогда с места не двинулся!

— Почем я мог знать?

— А кто знал? Ты мне только скажи, кто знал? — будто соль перемалывая, скрежетнули челюсти Кинцурашвили. — Пусть уж лучше отправят нас в это пекло, хоть мыть и мести не придется. Либо я эту треклятую немчуру положу, либо она меня.

— А что он сказал тебе?

— Кто он?.. Чего городишь?

— Да с которым ты познакомился утром?

— Мацхонашвили?

— Что на передовой лучше?

— Я же рассказывал тебе...

— Ничего, Бесо, это тоже придет... Сам увидишь...

А пока берись-ка за веник, я тебе помогу, только чтоб нас на заметку не взяли и, пока не упекли тебя на губу, расскажи-ка мне лучше про свою лошадь.

— А вечером — эти... Нам же еще к ним идти...

— Вот тебе еще развлечение. Не надо ничего помнить, не надо мозги забивать — все само собою при-

საქართველოს
ლიტერატურის
აქადემია

дет: запрешься на ключик в четырех своих стенках, а Валя Жижина тебе ромашек нарвет... Тоже не скучно.

— Написал бы заодно этой девочке тоже.

— Бесо!..

Бесо подобрал с полу брошенный веник:

— Я же не потому, что Гугута родня мне...

«Сколько солнца на задниках намалевал...» — думал Бакури, поднимаясь по косогору, откуда видны уже были бараки санбата.

Он увидел Тамару. Она спускалась, задумчивая и невеселая, словно шла не на свидание, а на почту, уже не надеясь получить долгожданную весточку.

«Жижина в этой сцене не участвует, — подумал Бакури, — нам одним придется играть».

— Я заставила вас ждать? — спросила она безучастно.

— Нет, я только пришел. — «Было б на что посмотреть, если бы я торчал тут часами».

— Валя не смогла сегодня прийти.

— Бесо тоже.

— Ничего не случилось?

— Может быть, тут они ни к чему...

Другого ответа Тамара, казалось, и не ждала. Больше вопросов не было.

«Нет, это не эпизодический персонаж», — подумал Бакури.

— Как голо кругом, словно мы стоим посреди сцены.

— Сменим декорацию?

— Сама не знаю... Может, к деревне пойдём? Там вроде церковь виднеется.

Бакури посмотрел туда, куда показала она.

— Слишком уж романтично.

— Это что, имеет значение?

— Разве это так важно?

— Важно то, что нам нужно.

— К сапогам, наверное, никогда не привыкну, — произнесла она, когда не спеша пошли по дороге.

Это внезапное бегство за кулисы не было предусмотрено.

— Да, трудно привыкнуть, — произнес он равнодушно, ибо, что бы он ни говорил и ни делал, все это

было написано в роли. Судя по колее, с неделю назад после дождя к селу проехала телега, а где она взбиралась на взгорье — следов не было видно.

«Может быть, она съехала, чтоб проложить для нас колею? Тем лучше — это игру упростит», — думал Бакури, глядя под ноги.

— Знаете, у меня есть одна дурная привычка, — улыбнулась Тамара той знакомой ему умной улыбкой, которой, ей казалось наверное, улыбается только она.

«Старается показать, какая она особенная... Впрочем, не все ли равно?»

— Может быть, она совсем не дурная? Просто эта привычка зачем-то нужна вам?

— Пусть она не дурная, а просто привычка...

— И все же?

— Поначалу я сама ищу встречи... Или как бы это получше сказать?

«Получше вчитайся в текст!» — посоветовал ей Бакури про себя.

— Вы поймете меня.

— Может быть, я уже понял. Мысль о встрече приходит вам первой.

— Инициатива, если стараться быть точной, принадлежит мне.

— Во всяком случае вас так истолковывают.

— Но зато дальше — никогда.

— Вы остаетесь не поняты?

— Не знаю, меня ли не понимают или сама я не понимаю.

— А может, не встретили свою пару?

— Не знаю, можно ли это назвать так?..

— Но что-то в этом роде.

— Я словно заранее знаю, как все будет дальше, и все же ищу. Может быть, я слишком откровенна?

— Да как вам сказать...

— Тогда помолчу, — и она улыбнулась, словно говоря, что тут улыбнулся бы всякий.

— Но мы встречаемся уже в третий раз, — продолжал читать свою роль Бакури.

— Вот это меня и огорчило.

— Все пошло не как всегда?

— Не как всегда.

— Наверное, так интересней.

— Нет, будет точнее, как я сказала, — не как всегда. Я всегда знала, чем кончится встреча, а сейчас не знаю.

— Значит, вы всегда шли на свидание, зная, что вернетесь ни с чем?

— Вы вроде бы правильно говорите...

— Что я говорю? — улыбнулся Бакури. «Разве это я сейчас говорю?» — подумал он.

— Сейчас... Сейчас вы говорите!

«А что говорить? — растерялся Бакури. — Неужели мне и ее роль читать?»

— Вы сами боитесь своей охоты, — произнес он. — Вдруг на руки вам свалится этакая туша, килограммов на семьдесят? Что вам с ней делать?

— Бакури?! — она остановилась.

— У меня получилось слишком уж откровенно?

— Слишком.

— По крайней мере это лучше, чем ложь.

— Не думаю.

Бакури поднял голову. Церковь стояла высоко, почти вровень с бараками санбата. У подножия косого, в низине, тянулась длинная полоска воды, и на той стороне ее вокруг пней шелестела густая новая поросль. Когда поднимались к церкви, девушка расстегнула ворот гимнастерки.

— Заставляю себя привыкнуть и не могу — ни к сапогам, ни к гимнастерке.

— Вам кажется, они не идут вам.

— Разве не роскошь сама мысль об этом?

— Мысль... Мысль—это единственное достояние человека, которое он еще сохранил.

— И чем больше она похожа на все, что ее окружает, тем больше мучений она приносит.

— А жить как-то надо.

— Но ведь трудно?

— Кому как. У меня брат есть, младший, Мамука, ему трудно не будет: вон ту лужу в низине он не увидит, у него в мыслях только эта церквушка будет парить.

— И он прямо пойдет к ней по этой трясине?

— Нет, он пройдет над трясинной, даже ног не замочив, и поднимется к церкви.

— Как счастлива та, кого он полюбит, — уверенно улыбнулась она.

— А он, и правда, кроме нее, никого не видит.

— Он вам родной брат?

— Родной, — улыбнулся Бакури, и его охватило сомнение: не поспешил ли он? Он внутренне оглянулся: бывает ведь — хотел одну страницу перевернуть, а листанул сразу несколько, если палец сухой.

Тамара остановилась, у нее дернулось правое плечо, и она повернулась к нему спиной.

У входа в церковь стоял часовой.

Бакури поглядел вниз, вспомнил про колею, но ее уже было не различить.

— Мы заблудились, — покачал он головой.

Тамара обернулась и, не таясь, удивленно посмотрела прямо в глаза.

— Разве вы тоже шли по колее от телеги?! — даже руки задрожали у нее. — Оставьте меня, а то еще я влюблюсь в вас, — и, резко повернувшись, она стала спускаться, ступая по собственным следам.

— Может быть, и Валя не пришла потому, что Бесо, бессловесный и сильный, привлекает ее и пугает?

— Да, да, да! — она опять обернулась и, пятясь, стала спускаться вниз, к болотцу, вся вспыхнув при этом, как бывает, когда чужая вина заставляет тебя покраснеть оттого, что ты сам той же виной мог бы быть виноват.

— Что же это такое? — проговорила она. — Чего нужно тебе? Что вам нужно от нас?

— Что мне нужно? Видит бог... — он повернулся к церквушке, уже позабыв, что спускается вниз, и надеясь еще раз увидеть ее маковку, но взгляд уперся в часового с ружьем. — Ничего... Или мне своей беды мало? — Он задрал голову к маковке, и ему показалось, там мелькнула Гугута. Удивления не было. — Ничего... Не нужно нам с Бесо ничего...

С наступлением ночи небо как прорвало, и если днем по бездорожью еще можно было тащить машины на себе, то теперь это стало бессмысленным. Утопая в грязи, навьюченный пехотинец мог пешком пройти в эту погоду и по этой дороге больше, чем на колесах. Открытую трехтонку со стертыми покрышками,

едва кончилась покрытая гравием дорога, пришлось и впрямь тащить на себе.

Руки Бесо, похожие на лопату, самой природой были приспособлены к подобным занятиям, но на ладонях у Бакури, знавших только тетради и книги, кожа даже после полевых учений не настолько задубела, чтоб тащить на руках эту истерзанную бездорожьем и ненастьем трехтонку. Весь в грязи, промокший до нитки Бесо в конце концов плюнул и хотел залезть в кузов, чтобы дать отдых заостенелым от усталости суставам.

— Кинцурашвили! — окликнул Климов с той стороны трехтонки, видно узнав на бледнеющем фоне неба мощные очертания поднявшегося в кузов Бесо.

— Чего этому сукину сыну надо? — перевесился Бесо через другой борт к Бакури.

— А я почему знаю, он только фамилию назвал, а это по-русски и ты разберешь.

— Кто его моей фамилии выучил, чтоб ему провалиться, — процедил сквозь зубы Бесо, перемахнув через борт в глубокую слякоть поближе к Бакури в надежде, что если командиру еще приспичит поговорить, так хоть будет понятно, чего ему надо.

Климов больше не появлялся, и к людям, возившимся возле увязшей трехтонки, покрикивания его доносились уже от головной машины.

— Вспомнил, видно, что тут губы нет, — объяснил Бакури мирный исход событий.

— О губе теперь только мечтать...

— Эй, дядя, толкай давай! — крикнул из кабины шофер, то ли заметив, что Бесо без дела стоит, то ли сообразив — поскольку машина не двигалась с места, — что не хватает рук этого дюжего малого.

— Это сколько ж тащить ее на себе?

— До Берлина как минимум, — мотнул головой Бакури.

— Да кому она нужна, проклятущая! Лучше нешком идти! — в визге буксующей машины скрипнули зубы Бесо.

— Нет! — отозвался Бакури. — Нельзя.

— Будто мне своих бед не хватает, чтоб еще эту взвалить на закорки.

— Зато есть на что поглядеть! Картинка что надо! Не люди на машинах, а машины на людях. Что ты скажешь на это?

— Что скажу? — проскрипел Бесо. — А что ты с ума съехал.

— Нет, зрелище каквоо...

— Ребята! Ребята! — невесть откуда пришлепал по грязи Семичастный. — Бросай все! Все на сегодня! Шофер тут же заглушил мотор, но сзади еще слышно было хрипящее клокотанье машин. Комвзвода стоял, пережидая, когда и они уймутся.

— Что будем делать, Толя? — по-грузински спросил Бесо, когда стихло в ушах.

— Эту ночь мы здесь переждем! — проговорил смущенно Семичастный, словно он пригласил в дом друзей и было неловко доставлять им неприятности.

— Значит, этой ночью больше ни шагу, — догадался Бесо, положив руку на плечо отделенного. — Слышишь, Бакури? Этого, пусть он хоть по-татарски чешет, я всегда пойму, а Климова и по-грузински — ни в жизнь.

— Очень пестра эта жизнь, Бесо! — вздернул вверх вымокшие плечи Бакури.

— Это почему ж? Все мы в одной грязи вываляны... Или я чего-то не понимаю?

— Нет, разумеется, все мы жаримся на одной сковородке, и затейнику этому так куда любопытней...

— Эй, ребята, — вовсе сник комвзвода, — прежде чем лечь отдыхать, так бы...

— Мы и тут времечко скоротаем неплохо! — горько усмехнулся командир второго отделения Иванов.

— Нет, вряд ли нас оставят в этой грязи, — высказал сомнение Семичастный, — там за селом санбатовские машины где-то застряли.

В другом конце кузова выругались.

— Чего? Чего? — не понял на этот раз своего комвзвода Бесо. — Там санбат, говоришь?

— Он говорит, с чего это Бесо так вырядился, красавец какой, пусть пойдет и обнимет свою Валю Жижину.

— Погоди, какая там еще Жижина... Чего ему надо?

— Иванов! Веди свое отделение, — попросил Се-
мичастный, с чавканьем выдрав ногу из грязи. — Где
Карханов?

— Карханов в кабину залез! — выдал командира
второго отделения его писклявый боец, видно сам за-
рившийся на кабину и теперь завидовавший начальству.

Едва они вышли на дорогу, покрытую гравием,
как вразнобой затопали ботинки, словно на параде
пошли нестроевым шагом, грязь больше не налипала,
поменьше лило сверху, но даже если бы дождь сов-
сем прекратился, это было б уже всем безразлично,
потому что на людях больше нечему было вымокать.

— Должно быть, в этом селе школа была, — пять
минут, что Карханов провел в кабине, заметно приба-
вили ему сметливости.

— Ты в школу влезешь раньше меня, а меня во
дворе оставишь! — снова пискнул обиженный боец.

— Потише, Геннадий Викторович! — настави-
тельно произнес командир отделения. — Старшинство
соблюдать надо.

Геннадий Викторович в ответ только фыркнул.

— Тогда, Семен Семенович, к какой-нибудь ба-
бенке позволь тут привалиться. Изменой Родине не
посчитай.

— Геннадий Викторович! — с подчеркнутой нази-
дательностью, усмешливо и устало завел Карханов. —
Ты призван охранять спокойный сон женщин, детей
и всех, кто лишен защиты и помощи, а о каком покое
может идти речь, если ты в постель к бабе влезешь?

— Так разве я зло какое на сердце держу, — за-
щищался писклявый, — я только если в ногах... а по-
душки головой не коснусь...

Рассвело.

Набухший влагой сизый туман придавил соломен-
ные крыши белеющих хат, сливаясь с сочащимся из
труб дымом.

Моросило тоскливо и хмуро.

Дорога и пустырек, на котором уютилась низенькая
школа-четырёхлетка, и даже дворы утопали в такой
вязкой слякоти, что казалось, грязь течет с неба вме-
сте с дождем.

Во двор школы — сорванную с петель калитку сняли и прислонили к забору — ребята второго отделения внесли на носилках Гайдукова и опустили перед крыльцом в три ступени прямо в грязь, перемешанную с битым кирпичом, которым посыпана была земля перед школой.

На крылечке стоял кто-то из командиров помладше и, щурясь, держал полковое знамя, а по обе стороны от крылечка вытянулись бойцы при оружии. Вдоль стены построились командиры по старшинству.

Бойцы отделения отступили назад, и возле покойника в изголовье оцепенело остался один Карханов, пока ротный политрук, обняв за плечи, не вернул его в строй, но и тут он остался стоять на шаг впереди шеренги.

Покойнику обмыли лицо и выстирали форму. Парнишка был очень худ, лицо его посинело, как от холода, и, будто стесняясь того, что ему приходится лежать перед начальством, он, казалось, просил прикрыть себе ноги шинелью. Нижняя губа в углу рта была от боли прикушена, и блестели мелкие плотные зубы, словно он улыбался суете брэнного мира.

Кроме второго отделения, все стояли строем и внутри двора, и по другую сторону забора, и на дороге. Жители от мала до велика облепили забор пестрой каймой, и эта кайма обрамляла защитный цвет, заполнивший собой все пространство.

Девушек из санбата построили так, что когда принесли покойника, они оказались с той стороны, что и командиры, вытянувшись вдоль стены, и получилось, что они все стоят, как покойникова родня, а в изголовье и в ногах Гайдукова оказались ребята его отделения, словно по крови самые близкие родственники.

Полковой комиссар, капитан Миронов, поднявшись на первую ступеньку крылечка, начал говорить глухо и сдавленно, слабо поводя руками, пока не сообразил, что в час скорби всякий жест неуместен. Оттого он еще больше запутался и сбился. Ему предстояло говорить о героизме бойца, о его беззаветном служении Родине, о том, что он сражался за правое дело и погиб с верой в победу и что его нельзя считать мерт-

вым, пока есть на свете правда и Родина, и что те, за кого он сложил свою голову, не забудут его.

А вышло все так: той ночью второе отделение решило вытащить из грязи перегруженный санбатовский фургон. Шофер дал задний ход и, не успев вильнуть в сторону, свалил подгнивший электрический столб — и бедняга Гайдуков, оказавшийся там, запутался в темноте в сорванных проводах. Его нашли утром, он лежал в грязи, весь скрюченный, вцепившийся в эти погубившие его провода. Так на самой заре своей жизни пропал человек, и теперь Миронов от сознания неловкости обтирал с лица пот, кляня в душе все столбы, провода и вообще электричество. Совсем не обязательно было, чтобы Гайдуков пал смертью храбрых непременно в рукопашном бою, но стань он жертвой тысячи непредвиденных случайностей по дороге на фронт — у Миронова не заплетался б язык: это была б та же схватка со смертельным врагом, то же сражение до последней капли крови и та же гибель за Родину.

«Дико было б, если б я подумал сейчас о Тамаре? — спросил самого себя Бакури. — Такого между мной и Гугутой не было: вероломство — было, людская ненависть была, но покойника не было. А тут — смерть, которая все на свете венчает. И мы — тут стоим, Тамара и я, будто вот она жизнь и любовь, и он — посередке, лежит и смеется над нами и над собой, каким был вчера, когда был способен любить куда больше нашего, безоглядней и откровенней».

Из-за выдвинутого вперед подбородка Бесо Бакури видел бледное лицо Тамары, она стояла в первом ряду, против покойника, глядя на школьную крышу, задумчиво и отрешенно, и слезы, наверное, были так же ей не под силу, как и смех.

«Сейчас она поглядит на меня, не обернувшись, искоса. Встречаться со мной ей сейчас не хочется. Все тогда б обнажилось, а ей страшно увидеть больше, чем на поверхности. Кошмару и так хватает, и она не захочет еще прибавлять, но раз не хочет и запрещает себе, значит, сделает то, что творю с собой я, что творят с собой люди потому, что не принадлежат себе».

Тамара взглянула, и Бакури легко прочитал в ее

глазах ненависть, но оттого, что он тоже взглянул на нее, ей стало жалко его из-за всего, что он наделал с собой, и ненависть обернулась в уголках губ той улыбкой, что была сейчас на мертвом лице Гайдукова.

Окоченевшего Гайдукова наконец укрыли шинелью. На глаза, безнадежно глядевшие в свинцовое небо, и на ранку над верхней губой, приоткрывшую ярко блетевшие зубы, надвинули пилотку, и мир, облаченный в защитный цвет, обнажил голову.

На погосте хоронить не стали, а отнесли покойника в дальний угол двора, и отделение выпустило патроны, принадлежавшие Гайдукову. Строго, шеренга за шеренгой, войско покинуло школьный двор и отправилось в свой дальний путь.

«Где ты выведешь на землю, где под землю уведешь?»

— М-м-миша! — Леон толкнул локтем в бок Афанасенко, тот шел вперевалочку и сейчас заснул на ходу, словно старая кляча. — Беда-то какая, ты только глянь!

— Беженцы! — ахнул Афанасенко и красными от бессонницы глазами, словно ища своих, заскользил взглядом по изнуренным лицам людей с мешками и котомками за спиной.

— Дети, ты погляди, а эта совсем уже ветхая!

— Ну прямо бабка моя!

— Похожа?

Не отвечая больше, Афанасенко вглядывался в лица беженцев, вытянувшихся вдоль дороги и безнадежно смотревших на проходящих бойцов.

— Н-н-неужели и этих? Ты же, Миша, из местных? — не знал, как выразить свою жалость, Леон.

— Всю ночь шли, — прочитал Афанасенко на лицах беженцев.

— Д-д-дети! — теперь и Леон, словно ища родных, вглядывался в каждого, кто в полшага стоял от колонны. — И не мылись сколько... Совсем из сил выбились, — простодушно пояснял он то, что видел, но, спохватившись, что нечего подливать масла в огонь, и чтоб хоть немного обнадежить товарища, протянул: — С другой стороны, кто м-м-может знать... — и тут наткнулся на тачку, которую все обходили. Он уда-

рился голенью, и, если бы ручки у тачки не были обмотаны лоскутами старенького одеяльца и еще веревкой обвязаны, он бы рассек себе лоб или глаз выбил.

Зареванный пацан, который отпустил на минуточку тачку, чтоб обтереть от пыли лицо, с перепугу остолбенел, пялясь на них во все глаза.

— Н-н-ничего... ничего, — улыбнулся Леон, чтобы успокоить мальчишку.

Мальчик от улыбок давно отвык, и вообразив, что такая улыбка --- обман и угроза, заревел и стал пятиться, протискиваясь челноком между своими.

— Да я ж г-г-говорю — ничего... С-с-скажи ему, Миша! — Леон, поняв, что его слова и улыбка испугали мальчишку, кинулся прямо к нему.

Афанасенко тоже выбрался на обочину из медленно двигавшейся колонны, а мальчишка, решив, что его хотят схватить, перепрыгнул через канаву, выбежал на поле и юркнул в камыши.

— М-м-миша! — закричал Леон, и, задыхаясь, погнался за мальчиком, сам не зная зачем.

— Мишутка! Так это же наши, наш боец! — выскочила из толпы беженцев женщина и остановилась шагах в десяти. Ее и нагнал Афанасенко.

— Мишутка? — остолбенел Афанасенко: она назвала его, как звали в детстве. — Вы что, меня знаете? Встречали где?

— Нет! — растерялась женщина.

— А Мишутка почему?

— Я мальчика своего...

— Так это сынишку вашего так кличут... — опомнился Афанасенко. — Не меня это! — крикнул он Леону, словно Леон погнался за парнишкой, чтобы узнать, не маленький ли это Афанасенко.

Мальчишка исчез в камышах, и, только шагнув вслед за ним на обочину, Леон пришел наконец в себя и остановился.

— Напугал ребенка... и что это со мной с-с-сделалось?

— Чего тебе надо от него? — мать, испугавшись, бросилась вдогонку за Афанасенко. Ей представилось худшее — за ребенком гнались, чтобы наказать за тачку. — Вы б так за фашистами гнались... а чего пугать пуганого?

Тут и Афанасенко сообразил, что не на Мишутку же в самом деле осерчал этот странный малый Леон.

— Ты чего за мальчишкой погнался? — закричал он ему вслед.

— Погнался? — спросил в свою очередь Леон, оборачиваясь к Афанасенко и матери мальчика. — Я н-н-не погнался...

Вообразив, что Леон и впрямь осерчал на мальчишку, — а бедняга и без того выше головы горя хлебнул, Афанасенко замахнулся на Леона.

От неожиданности Леон не почувствовал ни удара, ни боли, только спросил:

— З-з-за что, Миша?

Этот парень со здоровенными кулачищами не двинулся с места, и тогда Афанасенко, все поняв, обнял его.

— Поубивают друг дружку, от бесстыжие! — завопила женщина, решивши, что мужики схватились между собой.

— Прости меня, Леон, — от волнения у Афанасенко язык тоже стал заплетаться. — Сам не знаю, что нашло на меня, совсем ум за разум зашел, да еще эта здесь... — кивнул он на женщину. — А ты что, совсем одурела?

— Я-то? — возмутилась женщина, и презрение на ее лице говорило о том, что уж кто-кто, а она-то в здравом уме. — Мишутка! — повернулась она к камышам.

— Я тут, мам! — парнишка высунулся из камышей.

— Я ж сказала тебе, свои это...

— Леон, Леон... — потерянно талдычил Афанасенко. — Я-то думал, ты на мальчишку...

— П-п-послушай, п-п-поди-ка сюда! — позвал Леон мальчика. Тот остановился в нескольких шагах, размазывая кулаком слезы.

— Я как увидел вас, вот обрадовался...

— Н-н-ну и кто т-т-тебе что с-с-сказал?

Услышав, как Леон заикается, мальчик опять попятился.

— С-с-скажи, М-м-миша, я тебе что говорил?

— Этот дядя за тобой побежал, — вступился за

Леона Афанасенко, чувствуя свою вину перед ним, — сказать хотел, чтоб ты не пугался.

— Да, — кивком подтвердил Леон.

— На тебе от этого дяди подарок, — Афанасенко вытащил из кармана блестящий перочинный ножик и, отдав его парнишке, принялся снова рыться в карманах, желая показать, что такой прекрасный человек, как Леон, может подарить кое-что и получше.

Мальчик далеко откатил свою тачку с обочины, и матери пришлось помочь ему вкатить тачку на дорогу.

С наступлением сумерек прекратился воздушный налет на полк, растянувшийся цепью через степь. Фашисты потеряли один самолет, а полк — полевую кухню.

В надвигающейся темноте поползли разговоры — то ли повар погиб, а двоих ранило, то ли двоих прикончило, а один еще дышит.

Гибели повара на войне ждут меньше всего. Но для тех, кто своими глазами видал Гайдукова, покойно лежавшего в школьном дворе, ничего невозможного уже быть не могло, хотя не было в сердце той острой боли, какая могла быть у тех, кого этот повар кормил. Он заслужил, чтоб по нем горевали сильнее, чем по ком-то еще. Для бойцов он не был просто Иваном или Петром, который делал, что было положено, и волок свои беды и радости. То, что стряпал, вертясь у огня и котла, этот проворный парень, он готовил на всех, возвращая по два и по три раза на дню каждому то, что они оставили дома, у матери, у жены, у сестры. Может быть, стряпня его была негуста, невкусна и отрады она не давала, но этот бедняга хлопотал о них всех, и что червям на обед была отдана рука, кормившая всех, не означало лишь только то, что батальон уменьшился на одного бойца. Но Гайдуков уходом своим обесценивал смерть и взвалил на понурые плечи всех этих ребят поверх обычной походной поклажи то горькое горе, которым тянуло из дальнего угла в школьном дворе, и сейчас больше не было сил на себе тащить эту боль за погибшего повара, который стал всем как родной, и оттого никого не тянуло ни разузнать поточней, как он погиб, ни в эту гибель поверить, ни еще меньше — увидеть ее своими глазами.

Но сон натошак (а ночь, на беду, выдалась очень холодной) и обед, на другой день наспех сготовленный, с первой же проглоченной ложкой оповестили о том, что если не все, то уж один человек, тот, что вечно ворчал «про добавок ни звука», и правда куда-то исчез, и у всех-всех, и у Бесо Кинцурашвили сердце сжалось, будто ошпаренное. Не только всегдашний паек, но и добавка Бесо не спасала. Здоровенный крестьянин, проглотив что положено, набивал потом живот чем ни попадя. Повар совесть имел, и Бесо потерял того, кого не могли позабыть голод и жажда, жившие в нем, как не может грудной младенец позабыть про материнскую грудь. Может быть, и в тот день Кинцурашвили не отказали б в добавке, тем более, что сухари, выданные накануне, как семечки застряли в зубах, — так или иначе, но Бесо не пришлось мыть котелок, он так и сунул его в вещмешок и тем почтил память повара, не жалевшего для него добавки.

Бакури это так поразило, что странная фраза Бесо «Я же не потому, что Гугута родня мне» вмиг дошла до него и открыла ему глаза.

Этот молчаливый крестьянин не был прост, как дважды два. Есть люди, раскрывающиеся, когда этого ждешь меньше всего. И неприязнь Бесо к образованным, может быть, не тем рождена, что ему в тягость доля вечного работяги или он хочет урвать кусок пожирней, а терзает его, что не может он волю дать тому миру, что вмещен в его сердце, и как флаг развернуть его на всеобщее обозрение. Ему жалко Гугуту не из-за ее девчоночьей доли, и не сводня он, когда хочет навести между ней и Бакури рухнувший мост, он просто видит, что их разделить невозможно, как невозможно разъять литое, могучее тело Бесо. Он и жениться не стал, как женятся все крестьяне, войдя в возраст, когда заявится в дом старая сваха и с кривою улыбочкой извлечет из кармана фотокарточку пухлощекой девчонки, вытаращившейся в объектив.

Может быть, тут случилось другое. В разноязыкой толпе стало проще понимать друг друга без слов и можно было не объяснять про себя ничего. От Бесо слов не ждали — он ждал понимания и упорно молчал, как немой. Но сейчас у него появились слова.

«Вот ведь и Гугута слова не скажет, а Потола мелет и мелет... Может быть, и Бесо видит куда больше, чем нам это кажется. Как же получилось, что женщина, говорящая на другом языке, разглядела в нем больше, чем девчонки из нашей деревни, — ведь они росли вместе с ним?»

А возможно, безъязыкость может связать так же, как язык. Есть язык у тебя — говори, а сказал — ничего за сказанным словом не хотят ни видеть, ни слышать».

Бросив свернутую шинель под пожелтевший куст медвежьего ушка, Бакури прилег рядом с Кинцурашвили.

— Бесо...

— Не написал я письма... — скрипнул зубами Кинцурашвили.

— Я не об этом.

Бесо молчал.

— Ты Пачию помнишь?

— Кого?

— Пачию.

— Это который немой?

— Я про Пачию, пастуха, говорю.

Бесо, конечно, помнил Пачию, но как Бакури помнил его?.. И Бесо с благодарностью поглядел на Бакури.

— Ты знаешь, почему он умер? Ведь какой здоровенный был...

— В деревне никто, кроме меня, его не смел пальцем тронуть, да и надо мной он что вытворял, помнишь, наверное?

— А умер отчего? Я тогда в Тбилиси был.

— С горя...

— погоди, Бесо! С чего это было ему горевать. И вообще, откуда ему было знать... что значит горе.

— Кому есть о чем горевать...

— Да, у кого горе, тот знает, о чем его слезы.

— Порешил он себя.

— Я об этом не слышал.

— Он же немой был... И грамоты не знал.

— Конечно, если ни крикнуть не можешь, ни написать — кому что объяснишь.

— Он не стал вешаться и стреляться не стал.

— Знаю, не хотел, чтоб деревня видала.

— Просто умер, и все.

— Правда, что он любил эту девчонку, ветврача? Бесо поглядел в глаза Бакури, но промолчал.

«Ему опять кажется, что я ничего не понимаю, — подумал Бакури. — И ничего не пойму, если словами все не назвать. А я думал, это он ничего не понимает, и мне еще нравилось, что он недогадлив и прост душой».

— И она ничего не знала?

— Она образованная была — доктор.

— Пачия... немой...

— Да еще глухой, — добавил Бесо и, присев, локтем обтер от пыли и приставших семян валявшуюся рядом винтовку. — Напиши ей... — бросил он и поднялся.

— Ты же не знаешь, Бесо... — Бакури продел руки в лямки вещмешка.

— Напиши, говорю.

— Думаешь, это что-то изменит? Как было все, так и будет...

Кинцурашвили зашагал, не оглядываясь и глубоко впечатывая следы в землю.

Сильный северо-восточный ветер принес с того берега густой запах гари и пепла: в правой стороне догорал город. Ветер уносил дым на юго-восток, и бойцы, выйдя из леса и глядя на спаленный город, глотали, казалось, дым и пепел всех других городов и сел, и оттого было жутко вдвойне. Все, что было доступно глазу и куда ни достигал он, было начисто сожжено, и казалось, ни в чем больше не было смысла: за что шли воевать — сровняли с землей, кого надо было спасти — поубивали, и от всего, что держит нас на земле, остался лишь пепел, да и его развеивал ветер. С наступлением сумерек вперед выслали разведчиков, но о чем им было узнавать?.. Тот, кто спалил это село, город, деревья и землю, не пощадил бы моста, а впрочем, ведь это — смотря по обстоятельствам. Случалось, противник пальцем не трогал то, что ему самому могло пригодиться, и, наверное, штаб хотел выяснить, что в этот раз задумали немцы.

Выяснилось, что немцы еще не полностью овладели тем берегом, который считали своим, и обозлясь, что наши, прижатые к реке, еще продолжали сопротивляться, и боясь, чтоб не проникла к ним помощь, они сровняли с землей все, что было на том берегу. А мост немец щадил, но щадил лишь до тех пор, пока не стало ясно: русских, прижатых к реке, будет трудно сломить, покуда они рассчитывают на связь, а если, спасаясь от полного истребления, они уйдут по мосту, то сами, конечно, взорвут мост за собой.

Воздушную бомбежку и артиллерийский обстрел немцы прекратили за час до наступления темноты, чтобы русские получше могли разглядеть свое положение еще при свете дня и убедились, что на том берегу не осталось ничего, ради чего еще стоило драться. По предположениям немцев, русские сами должны были убедиться, что спасения ждать им неоткуда, и сдаться к утру без боя.

Разведчики подтвердили то, что всем и так было ясно: город пуст и разрушен. Мост был тоже разрушен и рухнул в воду, хотя противник на берегу не обнаружен, и задача, которая возлагалась на тех, кто был здесь, — переправиться ночью на ту сторону, доставить нашим истекавшим кровью частям боеприпасы и поднять их дух, — задача эта представлялась невыполнимой, потому что, кроме двух прохуdivшихся лодок, на берегу плавсредств не нашлось.

— Ну что, Бесо, представление только начинается.

— Тебя кто звал? — прикорнувший под осиной Кинцурашвили поднял голову и, привалясь к дереву, при слабом свете пробившейся сквозь чащу леса луны поглядел на возникшего перед ним Бакури.

— Семичастный звал.

— А почему сам не пришел? — о чем-то догадываясь, спросил Бесо.

— Должно быть, тебя постеснялся.

— Климов, что ли, сучья душа, зовет нас?

— Не по своей же нужде зовет.

— Чего ему надо?

— Я же сказал тебе. Пока что мы были вроде как шафера, которые только готовятся к свадьбе...

— А свадебка где?

— Не так уж и далеко... На том берегу.

— Образованные больно...

— Да, Бесо, рыбки захочешь — и ножки замочишь.

— Какую это рыбку я захотел?

— Я говорю, если захочешь...

— А какую я захочу? — вскочил Бесо.

— Этого я не знаю, Бесо. Это Климов знает.

— Он что, утопить меня вздумал?

— Куда там топить... На одного тебя вся надежда. наших на том берегу прижали к реке и в кольцо взяли, сидят — ни еды, ни воды, ни боеприпасов. К утру надо связь установить.

На том берегу взметнулась ракета. От нее по темному лесу, между деревьями, паутиной протянулись снопики лучей.

— А вообще-то говоря, красиво...

— Помолчи лучше! Что Семичастный сказал?

— Говорит, что Грузия — горная страна и реки там быстрые, но воды в них по колено, а вот смогут ли грузины перейти широкую реку, еще как поглядеть.

— Не знает, стало быть. Ну и что дальше?

— А Климов тут и спрашивает: а море разве не рядом у них?

— А этому черту известно, что я все жаркое лето только потом и умывался?

— А Толя ему: Бесо из крестьян, он по курортам не ездит.

— Вот-вот...

— У них, говорит, море такое теплое, что и зимой люди купаются... все правильно сказал.

— Ну, а если правильно сказал, вешай мне камень на шею и в воду бросай.

Схватив все, что было при нем, Бесо бросился из лесу.

— погоди, мы с тобой не одни пойдём, да и не собираются нас просто так в воду бросать.

— Ну и чего напридумали? — остановился Бесо, прижимая к груди винтовку, лопату, сумку и скатку.

— Надо по деревне пройтись и кой-чем разжиться.

— Где ж ты людей найдешь?

— Кто-нибудь да отыщется...

— У кого душа в теле держится, ему сейчас не до нас.

— Но и ты не пойдешь, как Христос по воде.

То, что из всей роты Климова именно отделению Иванова поручено было переправиться через реку, установить связь со своими, очутившимися в самой пасти врага, и оказать им поддержку, командир отделения отнес за счет дурных отношений, установившихся между Климовым и Кинцурашвили, и теперь, злясь на этого упрямого мужика, он, когда они стали подниматься вверх по берегу, приказал:

— Кинцурашвили, ступай вперед!

— Почему он меня вперед посылает? — спросил Бесо у Бакури.

— Может быть, ты бывал уже в этих местах и позабыл, а Семен Семенович знает об этом и помнит.

— Дождутся они у меня, — процедил сквозь зубы Бесо.

— Послушай, — Бакури пошел рядом с ним, — надо ж кому-то идти впереди. Не шеренгой же нам шагать.

— Вот пусть он и идет. Он же здешний.

— Какой он здешний, он откуда-то из-под Воронежа.

— Разговорчики! — прикрикнул командир отделения.

— Ты бы спросил, Бакури, чего ему от меня надо...

— Не ворчи, дружище, вот и я с тобой, — шлепая ботинками, их догнал Горбатов и пошел рядом с Бесо по другую руку. Не дотянувшись Бесо до плеча, он положил ему руку на пояс.

Бесо свернул вниз, к воде, наверное потому, что командир отделения не приказывал этого. Иванов и плотненький Коновалов последовали за ним. Командир отделения надулся, сразу поняв, что Кинцурашвили свернул назло ему, но, поскольку он же сам пустил его вперед, приходилось идти следом.

— Неужели они рассчитывают что-нибудь отыскать? — поинтересовался перепуганный Коновалов, словно малый ребенок, которого послали к роднику

за водой и дали подзатыльника, чтоб кувшин не разбил.

— Молчать! — одернул его командир отделения. Даже сейчас не завидуя Карханову и его отделению, удрученному гибелью Гайдукова, Семен Семенович обозлился на Бесо, потому что были, кроме них, и другие отделения, и если впредь по милости Кинцурашвили все рискованные операции будут поручаться Иванову, значит, не сносить им головы коли не сегодня, так завтра уж точно. Был ли Бесо виноват тут и в самом деле — устанавливать истину командир отделения не собирался. В конце концов не Иванов затевал всю войну и не его командирской ошибкой было то, что на том берегу наши части оказались в тисках противника.

Подальше от берега вспыхнули ракеты, и все пятеро тут же упали на землю, к подножию обрыва, — Иванов слова сказать не успел. Где-то на окраине снесенного бомбежкой города валялась пара лодок с прохудившимся днищем, но, не дойдя до них, бойцы провалились в огромную воронку от снаряда, и прежде чем успели подняться, вновь вспыхнули ракеты.

Когда стало совсем темно, они пошли дальше, спотыкаясь на каждом шагу, и там, где навалено было земли, Кинцурашвили уже понимал: тут воронка — и обходил ее стороной.

Наконец они добрались до окраины. Бесо, увидав при свете месяца на откосе обрыва тень от забора и подпиравшего забор дерева с обломанными сучьями, остановился как вкопанный.

Иванов прошел вперед и улегся под самым обрывом в надежде, что с того берега посветят опять и он успеет осмотреться — нет ли где лодки или плота. Но то ли противник решил поберечь ракеты, то ли оттого, что Иванову это сейчас особенно требовалось, но ракет, как назло, больше не было. От месяца еще посветлело, и на всем берегу почти до самого моста, провалившегося посередке, не то что лодки, доски не видеть было.

Бесо различил в темноте глубокий овраг, разрезавший крутой берег реки и уходящий вправо ложинкой. Обняв за плечи Бакури и Сеньку Горбатова, он повел их по узкой и грязной расщелине, которая, рас-

ширяясь кверху, венчалась зубчатым забором и лепившимися по краю склона сараями, сортирами, курятниками, хлевами и частоколом.

Семен Семенович и плотненький Коновалов молча следовали за ними. Командир отделения всем своим видом показывал, что поскольку он сам послал их вперед, то послушно шагает следом, пусть даже ему эта дорожка не нравится.

Овраг смердел отбросами когда-то полнокровной окраины, и, находясь здесь, о местных привычках судить можно было лучше, чем там, наверху. Бесо свернул сразу, у первой межи, едва показался заборчик, поставленный явно двумя разными хозяевами, и пополз вверх по крутому склону. Пovyше склон был суше, и карабкаться в ботинках было трудно, но трава, пробивавшаяся сквозь промытый дождями навоз и не тронутая скотиной, могла удержать даже грузное тело Бесо, и, цепляясь за нее, он полез вверх. Растертая в сжатой ладони трава издавала душноватый и резкий приторно-горький запах петрушки, редиски и лука, выросших из семян, попавших прямо в навоз, и еще этот запах сильно отдавал земляной сыростью.

Вскарабкавшись вверх, боец присел под забором и свесил ноги вниз. За одну его ногу ухватился Бакури, за другую — Сенька Горбатов. Иванов свернул вправо, стал карабкаться чуть в стороне, и болтающимися ногами Кинцурашвили завладел плотненький Коновалов; едва он начал взбираться вверх по откосу, дыхание его обратилось в некий мелодичный свист.

— Кой-какие хибары тут еще уцелели! — проворкотал Кинцурашвили, словно овчарка просунувши голову сквозь забор, и наскреб в карманах остатки махорки.

— Ты погляди, там еще что-то есть... — сказал Бакури по-русски, когда по двору, скуля, пробежал испугнутый пес и скрылся в хибаре.

— Ступайте к ним разговаривать, а от меня какой толк? — привычным движением Бесо оторвал от газеты клочок, не вынимая ее из кармана гимнастерки, четырьмя пальцами извлек из галифе щепоть табаку, который наскреб в кармане, и ссыпал на бумагу, ни крошки не обронив.

Командир отделения не запрещал Кинцурашвили закуривать и потому не стал делать ему замечание. Он приказал Бакури и Горбатову следовать за собой, прошел вдоль забора и остановился против конуры, в которую, сипло поскуливая, пролез пес.

Бакури чувствовал себя так неловко, словно собирался обогнуть и без того перепуганных насмерть хозяев, и, пропустив впереди себя Горбатова, он последним пошел по тропинке, ведущей от калитки к хатенке.

На осторожный стук в дверь никто не отозвался, лишь за домом опять тьякнул пес и смолк.

Бакури шагнул назад.

— Свои! — прошептал Горбатов, тенью прильнув к окну, и тут же изнутри дома — видно, притаились возле окна — хрипло переспросили:

— Свои?

— Свои мы, свои! Наши!

— Что за наши?

— Красная Армия!

Край темной тряпки, закрывавшей окно изнутри, отодвинулся на ширину большого пальца — и при бледном свете луны Бакури показалось, что ни осторожное это движение, ни глаз, возникший в щелке, не принадлежали этому сиплому басу.

— Ну, если свои, — просипел бас с таким выражением, словно хотел сказать, что если вы не свои, то лучше бы вам уйти восвояси.

Дверь чуть приотворилась.

— Хоть бы свет зажгли, что ли... — посторонился Иванов, приготовясь скользнуть в избу.

— Света захотел? — удивилась женщина с осевшим голосом.

— Тогда выйдите кто-нибудь, — растерянно проговорил Иванов.

— Чего они тут потеряли? — осевший голос стал резок и высок.

— Наши это... — объяснил бас, уговаривая больше себя, чем женщину.

— Черти б их всех разодрали, чего им всем надо?

— Погоди, сейчас скажут...

— Пускай говорят и убираются!

Дверь приоткрылась еще.

— Иванов Семен Семенович, — командир отделения просунул руку, чтоб познакомиться.

«Сейчас меня за собой потащит, — словно на холодном сквозняке, вздрогнул Бакури. — Смерть как не хочется идти туда».

— Амаглобели, за мной!

Бакури вытянулся за спиной Иванова.

— Иванов это, Семен Семенычем кличут! — объяснил бас своим.

— Ах, Иванов!.. Пусть заходит, у меня до него, дед Данила, дело есть.

Едва они очутились в доме, дверь захлопнулась, и Бакури остался стоять где стоял, не смея даже прислониться к стене.

Дрожащая рука чиркнула спичкой, а может, спички отсырели, но чиркнули еще и еще раз, наконец зажгли, прикрывая ладонью, и сильно убавленный фитиль керосиновой лампы без стекла замерцал синеватым пламенем.

Бесшумно отступив на полшага, Бакури спрягася за спину Семена. Ему хотелось осмотреться, но взгляд его сразу уперся в женщину. С вызовом подбоченясь, она стояла возле кровати у стенки напротив. Полная, без лифчика грудь женщины в распахнутом вороте рубахи не вызывала никакого желания, зов которого боец ощущает даже при виде чуть отесанной чурки, да к тому ж вместо передника женщина обмотала себя мужской рубахой, завязав рукава на широком заду.

— А где же ты до сих пор гулял, Иванов? — спросила женщина. Будто перед бурей холодным ветерком потянуло.

Командир отделения поглядел на Бакури, словно спрашивая, может, он знает, что здесь к чему, а он, Иванов, в первый раз ее видит.

— А за спиной у тебя кто хоронится? Слава богу, хоть совесть у кого-то осталась.

— Мы тут... в первый раз... Только пришли, — забормотал Иванов, полагая, что их с кем-то путают.

— А я о чем говорю? Только сейчас заявились.. А вчера где были? А третьего дня?..

— Глафира! Помолчи! Ради Христа, помолчи! — из боковушки выползла бабка и поставила на стол споловиненную бутыль с самогоном. — Бог с пими, забирают пусть и уходят...

— Чего забирают? Мало им всего? Забери ты все это отсюда, тетка Феня, либо хрясни о камень, либо в овраг кинь, а им не давай.

— Мы не за этим... — Иванов поглядел прямо на старика, понуро и тихо стоявшего у другого края стола.

— Ему еще, видишь ты, стыдно... Понимает, нечего им соваться сюда, вот и стыдно...

— Ей-богу, не за тем пришли... — Семен перевел взгляд на бабку, которая, сложа руки под грудью, стояла у лампы, а потом его взгляд приковала икона, ее серебристый оклад излучал пронизывающий свет.

— Так где ж ты гулял, Иванов? Неделя уже, как в нашем городе ниточки не найдешь...

— Глаш... они ж тут при чем? — вытянула к бойцам морщинистый подбородок тетка Феня. — Их вины нет...

— А чья вина, что на нас бомбы кидают да еще в рожу плюют, а я только криком кричи: «Ты где, Иванов? Куда подевался? Где наши? Почему не идут? Почему не летят? Где танки наши?..»

— Были тут наши, были... — покачал дед головой, не поднимая лица.

— Где были?

— Были, господь свидетель, были... — поглядела на икону бабка, все так же скрестив на животе руки.

— А что толку, что были? Мало тут порушили, поубивали... чтоб еще и эти приволоклись?

— А что им делать было? Они тоже себя не жалели, — надтреснутым басом проговорил дед Данила и перекрестился вместе с женой.

— Да мы, дед Данила, тут... насчет лодки, — попытался объяснить свой приход командир отделения, но тут заплакал ребенок — и женщина, коршуном бросившись к кровати, на которой лежал туго спеленатый младенец, схватила его на руки, видно боясь, что если сразу не успокоить, заорет и другой. Прижав младенца к груди, она с трудом, одной рукой, вытащила

грудь и ткнула ее в рот малышу, но тут на постели заревел второй.

— А Иванову известно, — рассвирепевшая мать прижимала теперь к груди и второго, — что даже пеленок мне фашист не оставил, все пожег... — Руки у нее были заняты, и она коленом задрала мужскую рубашку, которой прикрывалась вместо фартука, и открыла спаленный подол.

— Да найдем мы тебе, Глаша, чем прикрыться. найдем...

— Я и так не знаю, как благодарить вас, тетка Феня, что не сплю на головешках от дома родного. Ну, а юбку эту я не скину. Так и буду ходить, все ихние части обойду, всем покажу, пусть глядят и знают, что надо мной сотворили...

— Глаша, да замолчи ты, Христа ради, при людях... — повернулась старуха к иконе.

— А знают они, что от отца их у меня даже карточки не осталось. Его под Минском наповал сразу... у сирот моих ни отца, ни карточки на память! Погиб... На Иванова надеялся! А они вон заявили... выпить им дай!

— Нет! — выкрикнул Иванов.

«Не могу я больше на это смотреть. Не могу слышать. Кто все это придумал, пусть тот и глядит», — и, распахнув дверь, Бакури выскочил из дому.

Дед Данила ни про какую лодку не знал, из рыбаков тоже не было никого. В расстроенных чувствах командир отделения собрался уже вернуться к реке, но тут Бесо заартачился и зашагал краем обрыва дальше, поскольку старик сказал, что насчет рыбаков он ничего не знает, но до вчерашнего дня здесь, на самом краю города, был пивной завод. Видно, про себя дед все же решил, что бойцы не лодку искали, а выпить и лишь потому отказались, что от глашиного крика заговорила совесть у них.

Ни слова не удалось Бокерия выжать из Чумалова, личности замкнутой и несловоохотливой. Откуда взялись два ящика с боеприпасами, как — без моста — переправили их с того берега и вообще как возникла с тем берегом связь тоненькая, как паутинка.

...Оставив вместо себя Цинцадзе с его перевязанной рукой, он пополз к командирской землянке. Все три первых эшелона пригнали к реке одновременно, и теперь противник осыпал их ракетами, не давая высунуть нос из окопов и глотнуть воздуха.

Нырнув в набитую людьми траншею, Автандил ящерицей прошмыгнул между ранеными и спящими бойцами.

Боец, дремавший у входа в землянку, пытался его задержать.

— На часах спишь? — взъелся Бокерия, врываясь в землянку.

Держа винтовку наизготове, боец вошел следом и щелкнул затвором, на что Боженко, сидевший уткнув нос в колени и зажав голову локтями, вскинулся, как от громового удара, и с трудом узнал сменившего Винокурова комвзвода Бокерия.

— Кирилл Степанович! — не по уставу обратился Бокерия, и это на мгновение заставило Боженко тоже забыть, что они в землянке и кругом спят и дремлют командиры.

— Что там стряслось, Бокерия? — осторожно, словно в окошко стукнула женщина, спросил майор, медленно соображая, правильно ли он произнес фамилию этого парня.

Дождавшись ответа майора, часовой сразу вышел, волоча винтовку, словно палку.

— У меня просьба к вам, одна-разъединственная...

— Мы что, не увидимся больше? — майор встряхнул головой, словно желая очнуться, и подобие улыбки появилось на его лице.

— Нет, не поэтому, — резко возразил Автандил.

— Говори, что надо, ты же знаешь, я человек хоть и строгий, но...

— Знаю, Кирилл Степанович, потому и пришел к вам. Отпустите меня вместе с моими ребятами, — на слове «ребята» язык Бокерия, острый как бритва, вдруг стал неметь, — с теми, кто еще жив...

— А куда идти — разве есть?

— Идти-то некуда. А вот к тем бы, что припасы переправляют...

— Переправили на двух лодках с прохудившимся дном, а с середины реки тащили их вплавь на себе,

пока не стало светать. Больше уж не успеть, видно...

— Чумалов сказал, еще поджидаем.

— Да там вроде бы бочки приспособили... Точно не знаем, связи нет, ни моста, ни брода.

— Вот мы и разгрузим их, если бочки.

— В бочках — боеприпасы! — мотнул головой Боженко. — Выгружайте, раз так.

Бокерия повернулся кругом и, позабыв, что в такую пору вход в землянку плотно прикрыт, чтобы не дать просочиться даже слабому свету, головой угодил в закрытую дверь.

В длинный окоп, вырытый возле самой воды, четверо бойцов опустили, словно бревно, завернутого в шинель раненого с перевязанной головой. В высоком бурьяне, уцелевшем после обстрела, поставили носилки, и даже прибрежный ветерок, к утру подувший сильнее, не мог развеять пропитавшего их запаха человеческой крови. В ожидании новых вспышек ракет носилки забросали травой.

— Поди знай, где пристанут. Разойдись!

— А куда расходиться, вниз по течению или вверх? — изготобились бойцы.

— Откуда ему знать? Тебе тут белыми камушками на другом бережку не напишут, — слышался чей-то вздох, и, согнувшись, боец неслышно затрусил вниз по течению.

— Смотрите, как бы эти сволочи с тыла не подобрались.

— Бочки, говоришь?

— Вроде бы бочки, поди знай... Я тут, возле окопа, старшину подожду. Да и этот концы отдаст, не бросишь его.

«Чего-то уж больно мудрит Бокерия... родня ему этот малый или просто привязались друг к другу?» — размышлял Андрей Богомоллов, лежа у берега в воронке, выбитой снарядом, куда уже просачивалась вода. Ему вдруг почему-то вспомнилась Москва, он и сам подивился, с чего бы это она вспомнилась, но, сообразив, что Москву забыть невозможно, он вдруг почувствовал, как кровь стынет в жилах: а вдруг не видать ему больше Москвы? И чтобы стряхнуть с себя эту страшную мысль, он вскарабкался по стенке воронки и вслушался в темноту.

Что-то плескалось возле берега, будто утка ныряла, вынырнет и нырнет, вынырнет и нырнет...

Собака его охотничья?

«Если Москву совсем разбомбили, маме с собакой делать там нечего. А Наташины кошки? Кошек этих...» Луна давно скрылась, и немец, видно, решил, что нечего ракеты зря тратить, лучше уж пулями... И теперь заряжает, наверное...

Тьма стояла кромешная, а утка ныряла все ближе и ближе к топкому берегу.

Ниточка мысли ускользнула от Андрея и пропала. В последнее время от перенапряжения голова иногда делалась у него как деревянная, а глаза на чумазом лице становились совсем белые. Вот и сейчас с ним начинало это твориться.

— Бокерия! — окликнул он, когда течение подогнало к берегу что-то вроде охотничьего шалаша, но он тут же вспомнил, что Бокерия остался у окопа, а раненный в руку Цинцадзе находился чуть ниже по берегу. Подполз Цинцадзе и, орудуя одной рукой, съехал в воронку, из которой выбрался Андрей.

— Кто это? — спросил Андрей.

— А ты не знаешь?

— Поди, Бокерия скажи...

— А что говорить? Я сам кто да что не знаю. Медленно идут, будто их волной гонит.

— Бочки... видишь, бочки это...

— Амис дэда ватире¹... — вырвалось по-грузински у Цинцадзе, когда бойцы, сидевшие на четырех пивных бочках, связанных прибитыми сверху досками, соскочили с плота, подхватив тяжелые ящики, чтоб побыстрее разгрузиться и снова обратно.

— Здесь грузин вроде есть? — спросил Бесо, зажимая под мышкой ящик, а другой рукой выволакивая на берег плот, словно это была быстрая речка возле его деревни и он боялся, что течение вырвет плот и умчит.

— Все может быть, — выдохнул вконец утомившийся Бакури.

— Хорошо хоть тут из наших кто-то есть, а то я гляжу, немец не лучше меня русский знает.

¹ В данном случае — черт возьми.

Ладо обомлел, услышав грузинскую речь, но когда Богомолов устремился к воде, он пришел наконец в себя и поздоровался с теми, кто выходил из воды на берег.

— Здорово! — ответил Бесо, опуская ящик подальше от воды, чтоб не проникла сырость.

Когда и Бакури ответил по-грузински, Ладо решил, что вся группа из грузин, и у него от волнения перехватило горло.

— Откуда вас сразу столько, ребята?

— Чего-чего он говорит? — спросил Иванов.

— Он решил, что мы здесь все грузины... — объяснил Бакури.

— Не все, но во главе группы — грузин, — пояснил командир отделения. — Ему одному спасибо, а то я обратно уже нацелился, — добавил он таким тоном, словно родной дед послал его к соседям за козой, а соседей нет дома — и теперь иди объясняй деду.

— А это — что? Откуда приволокли? Раньше-то где он у вас был? — спрашивал кто-то прерывистым шепотом, пытаясь идти в ногу с теми, кто, таща носилки, скорым шагом мерил прибрежный гравий.

— Командование в известность поставлено... — объясняться с прибывшими не сочли нужным, но все же ответили.

Те, что были с плота, оттащив ящики, кинулись обратно в воду.

— Погодите! — остановил их Ладо.

— Чего тут годить? Нас подводная лодка не ждет... — объяснил Иванов.

Бокерия, тащивший носилки спереди, шагнул прямо в воду к сбитым в плот бочкам.

— Стой! Ты куда? — вырос перед ним Иванов.

— Цыц, Чумалов, молчать! — тихо прикрикнул Бокерия, не объясняя Иванову в чем дело и накинувшись на Чумалова, который, шаркая, семенил рядом с ним и теперь кинулся к берегу. — Чтоб ни слова. Другого выхода у нас нет, и плевать я на все хотел!..

— Я — Иванов! — разъяснил ему Семен.

— Мне известно, что вы — Иванов! — Автандил живо сообразил, что командовал транспортом из сколоченных бочек как раз этот. — На ваше имя поступил приказ командования.

Раскрыв рот, Иванов оступился и налетел на Бесо. — Это раненый... — и Бокерия протащил перед ними завернутого в шинель и привязанного к носилкам человека, он был без сознания и не шевелился.

Остальное остолбеневшему Иванову, стоявшему по колено в воде, должен был объяснить Вишневский, ухватившийся за носилки сзади.

— Это — генерал! — остановившись на миг, шепнул ему в самое ухо Лева, но так, что услышали все.

— Генерал? — если б Бесо не подхватил Иванова, на которого столько свалилось за последние сутки, тот рухнул бы в воду.

— Специально завернут в шинель рядового бойца, — добавил Богомоллов, сидевший на корточках у самой воды. — Таково требование!

— Генерал? А если бы не генерал? — скрипнули челюсти Кинцурашвили.

Не найдя места рядом с носилками, которые были поставлены во всю длину плота, Бесо сел на бочку верхом и так ловко опустил в воду доску, выдранную из забора пивного завода, словно это окунулась та самая утка, к нырянию которой прислушивался Богомоллов.

— Генерала он хорошо если раз видал, да и то издали, — проговорил кто-то с берега, и комок злой обиды, застряв в горле, чуть не заставил его задохнуться.

— А жив не останется, чем там кончится эта война — уже все равно, — отозвался торопливо другой, и Бесо гребанул доской с такой силой, что стоявший над носилками Бакури пошатнулся и слепленный из бочек плот чуть не ушел у него из-под ног.

Перевод И. БОРИСОВОЙ

Хута ГАГУА

ТЕПЛО

Я руку жал,
С чужой рукой
Соприкасался я.
Тепла чужого удержал
В себе частицу я.

Теперь и твой,
Мой друг, черед,
Дай руку. От меня

К тебе частица перейдет
Сердечного огня.

Так нет конца
Теплу, добру,
Хоть, может, в этот миг
Тот, первый, зябнет на
ветру,
Поднявши воротник.

ДЕРЕВЬЕВ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИСТЬЯ...

Не надо мне
вашей корысти,
Кубышек я не набивал.
Деревьев зеленые
листья —
Бесчисленный
мой капитал.
Тряситесь
над толстой сумою
(Чеканка, цепочки, литье),
Все золото звезд надо
мною
Зато,
безусловно, мое.

Зато я пою
голосисто,
Когда вы угрюмы и злы.
Под этой луной
золотистой
Я — песня,
вы — горстка золы.
Пожалуй,
я этой весною
В просторы земные уйду,
Пусть птицы поют надо
мною
В цветущем,
прозрачном саду.

А хочешь, сборник новый подарю
И дарственную надпись начертаю.
Я здесь воспел и землю, и зарю,
Любовь и труд.

Ну, хочешь, почитаю.

Поэт не для того ли и рожден,
Не для того ли и живет под небом?

— Я не хочу стихов, — ответил он.

— Чего ж ты хочешь?

Он ответил:

— Хлеба.

— Но я старался, мучился, творил
Про родину, про мужество, про детство...

— Я не хочу стихов, — он повторил.

— Чего ж ты хочешь?

— Я хочу согреться.

Уже исчез бедняга вдалеке.

То снег лепил,

то мелко моросило,

А я стоял с книжонкою в руке,

Что ни тепло, ни хлеб не заменила.

Перевод Владимира СОЛОУХИНА

КРОВЬ ПРЕДКА

Прожить бы, чтоб

живое существо

не погубить по злобе иль ошибке!

Что жду от человека? Лишь улыбки.

Горжусь я кровью

предка моего.

С детьми ли затеваю

баловство,

читаю ли Важа иль Марка Твена,

иль Шиллер шелестит мне вдохновенно —

горжусь я кровью

предка моего.

Люблю детей!

Устроим торжество,

дадим им волю — пусть подходят смело,
без очереди: вот нуга, чурчхела...

Горжусь я кровью
предка моего.

Покоя вам, друзья!

И ничего,

что иногда приходится мне хуже,
чем дереву, единственному, в стуже,

Горжусь я кровью
предка моего...

Кого там черт принес
в ночи?.. Кого?..

Но помню, что отец сказал мне строго:
и гость ночной — он тоже гость от бога!

Горжусь я кровью
предка моего.

О Родина, я — пес твой.

Но его

к тебе не цепь привязывает — жилы!
Где мне найти слова достойной силы?

Горжусь я кровью
предка моего!

ДВА ПУТНИКА

Пугалось стадо
свиста хворостинки.

Кричал петух. Шумели деревья.

И путник, бодро шедший по тропинке,
догнал другого,
ползшего едва.

— Зачем назад ты смотришь
то и дело?

О чем жалеешь? Что там, позади?

Не улочку ли детства разглядела
твоя печаль?

Иль ты устал в пути?

— Смеюсь сквозь слезы...

Это не усталость.

Но дедовский привиделся мне дом.
— Да там, небось, собаки не осталось,
чтоб, встретивши,
вильнула бы хвостом...

— Еще приснилось...

— Брось. У богатея
в любовницах любимая твоя.

Он — что султан: теперь его затея —
иметь гарем.

— Будь проклят!.. Видел я,

приснилось мне...

— Да ты ребенок, право!

Тащиться меж провалов и вершин,
чтоб о тебе прошла худая слава:

зачем пришел,
коль пуст его хурджин?!

— Пусть люди впредь
от праведного пыла

плюют мне вслед — я плоть их все равно.

И вот что молвлю: отчая могила —
как родина:
другой не суждено.

Ступай своей
дорогою угрюмой,

спаси господь — что нам делить с тобой?..

И дым от трубки — над тяжелой думой
растет, уходит
в купол голубой.

Там он исчезнет,
там ему спокойней...

Прохожий в гору движется едва.

И звон, и звон стоит над колокольней.

Белеет храм.

Сверкает мурава.

Вот и могила.

И в тоске, в разброде,
все путается: мысли, времена.

Мерещится ему — на небосводе

восходят вместе
солнце и луна...

...Судьба моя,
стою с мольбой постылой.
Не жаден я в желаниях своих:
убей меня, замучай, но помилуй —
не одеяй
уделом тех двоих!..

* * *

Когда ударит гром и каркнет ворон,
блаженство есть и дивная свобода
в том, чтобы пренебречь зловещим вздором
и, дуб найдя с листвой его резною,
под ним укрыться, обратясь спиною
к жестоким чудесам твоим, Природа.

Но что это? Расколот ярким светом,
весь мокрый ствол дрожит, скрипит устало.
О дуб, и ты бессилен перед ветром.
Ты, вскинув ветки, падаешь, стеная.
И остается встретить вихри, зная,
что дуб погиб и голова пропала!

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ СТИХИ

Всем этим людям
я от души кланяюсь снова:
словно икону,
брали они фото отцово.
К дальней могиле
долго вели родичей редких,
старый обычай строго блюдя,
помня о предках.
Кланяюсь низко
всем, кто ушел тихо, неспешно,
выполнив долг свой —
что говорить, трудный, конечно...
Долго живите! Долго! Сто лет!
И не старея!..
Похоронили...

Комья на грудь все тяжелее
падали сверху. Кончено. Все.

С тихой беседой
все расходились.

Шла тишина улицей этой.
Сын мой, Ираклий, чуть отошел,
молча, украдкой.

Так и стоял он,
заворожен
страшной догадкой.

МОНОЛОГ УМЕРШЕГО

Начать сначала? Снова жить? Безумье, бред!
Уж как я жизнь любил, покуда срок не вышел
и для меня не прервалось течение лет,
и страшный плач родных над мертвым, над собой,
я за границею небытия услышал!
Кто знает смерть, тот повторит ли жребий свой?

Повторно жить, к повторной следуя кончине?
О нет, все кончено, и я — земля отныне.

Но, сыновья Адама, помните завет:
гоните зло, молитесь, если слабы,
и у кого любить таланта нет,
то уважайте ближнего хотя бы.
Где черной желчи власть, уж там всегда
готова подлость проявить усердье,
и там вовеки не совьют гнезда
ни доброта уже, ни милосердье.

Одной любовью держится земля.
И вы, судьбу о чем-нибудь моля,
продлите жизнь людскую, помня это!
Продлите жизнь там, в вашей суете,
там, на земле, —
ведь более нигде
нет осени,
зимы,
весны
и лета.

* * *

Гу, слава богу, сумрак зимы,
боль ее тошная —
все пережито, все позади,
все — дело прошлое.
Как устоял я, мучаясь, скорбя,
плача и сетуя?
Трудно мне было, ох, нелегко!
Вынес и это я.
Не причинил я горя друзьям,
родичу кровному —
повода не дал каркать вокруг
слету вороньему:
у растворенных настезь ворот
кладбища старого
не загалдели: — Ой, подожди
до снега талого!
Ой, дотерпи уж хоть до весны!..
Глянул рассеянно —
день-то весенний! Лег на траву —
весело, зелено!

Небо родное радует взор
солнечной кромкою.
Так и мой предок, верно, лежал
с песней негромкою.
И напевал он разве не так:
— Худа не делая,
нашим врагам я разве не враг?
О, дели-делиа!..
Нежность исходит от тростника,
дух, дуновение.
Смерть — вроде жизни: так же легка
в это мгновение.

МЕЧТА

Стояла ночь на месте дня —
ты мне светила взглядом.
Все отвернулись от меня —
ты шла со мною рядом.

Не знал я, где согреться мне,
не знал, куда мне деться —
напомнила о давнем сне,
о теплом мире детства.

Лишь ты являлась предо мной —
и все вокруг лучилось.
Я — на вершине ледяной:
как все легко случилось!

Весельем дерзостным моим
смущались все в тревоге —
тебя, невидимую им,
я развлекал в дороге.

Спасибо, добрая, тебе,
ты, право, молодчина!
Ярмо, присущее судьбе,
ты так мне облегчила!

Но вот беда: тебя уж нет.
Бреду, куда не зная.
Метнулся быстрый силуэт
коня — и — тьма густая.

Край одиночества вокруг —
проселки ли, проулки.
Какой тебя неверный вдруг
умчал в разбойной бурке?

Я боль своих давнишних ран
зализываю дико.
Ты это или же — обман?
В руке твоей гвоздика!

Дрожь старости со мной — смотри! —
вот-вот и совладеет...
А на столе красней зари
гвоздика увядает.

ЕДИНСТВЕННЫЙ

Ад мой, бред мой,
чья воля глуха!

Бремя долга и города бремя...
Как влечет меня в то наше время —
как убийцу
на место греха...

Как яснее,
зовя и маня,
троп и улочек круговорот.
Не убийца я — наоборот
там спокойно
убили меня.

Бог простит вас,
но грех этот — ваш.
Я растоптан, как будто трава.
И глаза я закрою едва —
темный двор тот
и темный этаж...

А теперь я вас
не узнаю:
столько в ваших речах доброты!
Ну, спасибо, я ваши цветы
возложу
на могилу свою.

Но во сне я
все с той же тоской
возвращаюсь в родные края...
Незабвенна Итака моя.
И могилы
не будет другой.

Перевод Юрия РЯШЕНЦЕВА

Гурам КАПАНАДЗЕ

Рассказы

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

И ВОТ наступил последний день соревнований. Сегодня будут подведены итоги, и — все. Ночью дождь прекратился, ветер разогнал тучи и, словно утомившись этой работой, утих. Утром ослепительно сияло солнце, все вокруг стремительно подсыхало. В общем установилась настоящая «теннисная» погода.

А всю предыдущую неделю то и дело лило как из ведра. В течение дня по несколько раз приходилось прерывать соревнование, и, пока шел дождь, теннисисты сидели сложа руки. Потом организаторы соревнования обливали площадки бензином и поджигали его; площадки быстро высыхали, но ненадолго — неизменно дождь снова начинался — и все повторялось сначала — грязь, лужи. И вот только сегодня, в самый последний день, показалось солнце.

Тенгиз остановился у витрины магазина, поставил спортивную сумку на тротуар и огляделся — глаза умные, холодные. Неподалеку, у киоска, бледный высокий юноша разговаривал с девушкой в голубом платье. Девушка была очень хорошенькая. Она слушала собеседника, слегка наклонив голову и раскачивая из стороны в сторону черную сумочку.

А в это время тренер шел через вестибюль гостиницы к выходу, но его остановил коллега из Армении — бывший теннисист, уроженец Тбилиси, друг детства...

Перед гостиницей — площадь. К площади сбегаются узенькие улочки. Готическая архитектура. К северу — залив, мелкий белесый песок. Тут, в Эстонии,

многие увлекаются парусным спортом, но и теннис — один из наиболее популярных видов спорта.

...Тенгиз продолжал стоять у витрины — ждал тренера, но старик все не шел...

Из столовой, что рядом с гостиницей, появился Дито, сверстник Тенгиза. Настоящего теннисиста из него так и не получилось, хотя еще лет пять тому назад именно на него в Грузии возлагали самые большие надежды. Как-то раз Дито за полчаса съел семьдесят хинкали и выпил девять стаканов пива, и по сей день, когда речь заходит о большом теннисе, тренер говорит, что есть, во всяком случае, чемпион должен, как Дито.

К гостинице подъехала серебристая машина. Из нее вышли украинские спортсмены и среди них — Лера Кузьменко, чемпионка страны и самая красивая теннисистка. Тенгиз видел, как Дито бросился к ней, горячо пожал руку, а когда девушка ушла, еще долго смотрел ей вслед. Потом он посмотрел по сторонам, заметил Тенгиза и подошел к нему.

— Отчего это нас так влечет к чемпионам и красивым женщинам? А ты не опаздываешь?

Тенгиз покачал головой:

— Нет. Встречу отложили на полчаса.

На другой стороне площади девочка с большим красным бантом бросала голубям хлебные крошки.

— Давай я понесу твою сумку, — сказал Дито. — А то у тебя рука устанет.

— Да нет, она ничего не весит.

— Давай, давай. Доставь мне удовольствие — доверь сумку чемпиона.

А когда Тенгиз отдал Дито свою сумку, тот вдруг спросил:

— Какого цвета яйца совы, а, чемпион? — и сам долго смеялся над своим вопросом.

«Цвета ранней лысины и несбывшихся надежд. Лысина — в двадцать, крушение надежд — в восемнадцать, унылый, длинный нос, невыразительные, тусклые глаза. А вокруг столько девушек, и каких девушек! — Лера, Вельве, Русико...»

Старик все не шел, и Тенгиз решил больше не ждать его. Молодые люди перешли улицу. Возле кофейни Тенгиз оглянулся в последний раз.

— Денек великолепный! — сказал Дито. — А как ты себя чувствуешь?

— Нормально.

— Да, финальная игра — мечта каждого из нас. Ты—первый из Грузии, кому выпала эта честь. Впрочем, и Ваню был не из слабых, но в его время ведь играли все знаменитости: Негребецкий, Новиков, Бельцгейман, Корбут...

— Озеров, Андреев.

— Да, выйти в финал с ними было потруднее... Помнишь, какая у него была подача! Ваню был у нас первой ракеткой!

— После Виктора.

Тенгиз знал, что Дито будет рад его проигрышу. В Тбилиси две партии теннисистов... Капулетти и Монтеки... «В каких закоулках человеческой души рождается недоброжелательность, зависть к успеху другого?»

— Хиоп — слабак, — продолжал болтать Дито. — Сегодня ты обязательно победишь. Правда, в нашей комнате все уверены, что чемпионом станет он, но я не разделяю этого мнения и даже готов побиться об заклад.

— Это что за церковь, Дито?

— Понятия не имею.

— Оказывается, в этом городе чуть ли не десять церквей.

— Ну и что?

— Говорят, в одной из них какой-то пожилой служитель господина изготавливает рисорджименто.

— Это еще что?

Они снова перешли улицу, и церковь осталась позади.

— О! Рисорджименто — это такая штука, которая будит скрытые возможности человеческого организма.

— И как это она будит? — спросил Дито с деланным равнодушием.

— Один стакан рисорджименто вызывает обновление духовных сил и стимулирует рост волос... Вот если ты еще поддержишь мою сумку...

Дито засмеялся.

А стадион был уже где-то рядом, вниз по склону. И вот он показался — празднично украшенный много-

цветными флагами, окруженный огромными вековыми липами.

Они прошли через боковой вход. У тренировочной площадки, облокотившись о металлическую сетку, стояла Вельве. На девушке было черное платье, которое подчеркивало необыкновенную белизну ее кожи и очень шло ей.

— Сегодня я болею за вас, — сказала она Тенгизу.

У нее была высокая грудь, и не глаза, а два ярких аметиста блестели из-под тяжелых кудрей, падающих на лоб.

— Сегодня я болею за вас, — повторила Вельве. — А еще я подарю вам мой талисман.

— Одним словом, она желает вас осчастливить! — изрек Дито.

— И это значит, что сегодня я проиграю, — неожиданно сказал Тенгиз, раздумчиво глядя на девушку.

— Господи, почему это?

— Когда вы не болели за меня, когда желали моего поражения, я ведь всегда выигрывал.

— Ну, это уже суеверие.

— Может быть, но мне хочется быть спокойным...

Вельве посмотрела на него, откинув голову, и теперь открылась ее гладкая белая шея. «На одного большого теннисиста приходится тысяча обыкновенных теннисистов, — подумал Тенгиз. — На одну Вельве — тысяча обыкновенных женщин. Пенной морской рожденная... Королева теннисисток».

Наконец Тенгиз отвел взгляд от девушки и посмотрел на часы. А она сказала:

— Вчера я познакомилась с вашим тренером. Знаете, он у вас удивительный...

— Что, хорошо целуется, а? — спросил вдруг Дито и нехорошо засмеялся. Лицо его пошло неприятными красными пятнами.

«Ого! Как она держится! И бровью не повела. Ее предки наверняка были князьями!» — подумал Тенгиз.

Не выдержав неловкого молчания, Дито отошел и, обогнув площадку, скрылся в судейской комнате.

«Нужно быть великодушным или вовсе не замечать каких-то вещей. Но и то и другое очень трудно. Пожалуй, потруднее, чем стать чемпионом», — вспомнил Тенгиз слова тренера.

А Вельве уже снова улыбалась.

— И мне пора, — сказал Тенгиз. — Скоро мы с моим противником скрестим оружие, и если я буду смертельно ранен, то унесу с собой твою улыбку, — он указал пальцем на землю, — туда!

— Такие, как ты, рождены для победы.

В ожидании начала соревнований зрители убивали время кто как мог. Между незнакомыми людьми завязывались оживленные беседы о погоде, о спорте, о ценах, о городских новостях. Эти случайные встречи и разговоры были передышкой, коротким отдыхом от монотонной повседневности. Да и сам теннис для большинства собравшихся тут людей был лишь поводом для этого отдыха...

Появление Тенгиза было тотчас замечено. Зрителям нравился грузинский теннисист — высокий, смуглый, стремительный.

Тенгиз вошел в раздевалку.

— Как сыграл Виктор? — спросил он Гиви Маргания.

— Проиграл.

Тбилисский теннисист и одноклубник Тенгиза Виктор Ураевский встречался сегодня с москвичом Паньковым. Оба претендовали на пятое место.

— И с каким же счетом?

— 6:2, 6:3, 6:1. Нездоров, говорит.

— Что-то вчера он не был похож на больного.

— А ты видел теннисиста, который не объяснял бы свой проигрыш болезнью?

— Может, он вчера выпил?

— И это не исключено.

Тенгиз поставил сумку на скамейку и подошел к окну. На третьей площадке играл Томасс Хиоп — любимец эстонских болельщиков, его главный соперник. Хиоп готовился к решающей схватке. Тенгиз ощутил приятный знакомый холодок в груди — он был в форме и с нетерпением ждал игры. Томасс — достойный противник, и вечером, как бы ни закончился матч, они будут искренне улыбаться друг другу, и у них найдут-

ся о чем поговорить... А Вельве все-таки красивее Вальерии — она привлекательнее, и у нее глаза, как два ярких аметиста. Тенгиз поймал себя на этой мысли и усмехнулся — он никак не мог решить, какая из девушек больше нравится ему, — то одна ему казалась самой красивой, то другая. Но сегодня, несомненно, красивее всех на свете была Вельве.

— Выше! Поднимай выше! — кричал своему партнеру Томасс. У площадки толпились мальчишки и не сводили восторженных глаз со своего кумира...

Потом вошел тренер и сказал:

— Готовься! Пора!

Старик совсем охрип. И выглядел он скверно. На следующий день после приезда у него поднялась температура. В последнее время он стал часто простуживаться.

Тенгиз расстегнул свою сумку и вдруг осознал, что отвык от старика и что ему трудно оставаться с ним с глазу на глаз в маленьком номере, в котором они, по давно установившейся традиции, поселились вместе. Раньше было иначе... А вот с Вельве в этой самой комнатенке он мог бы провести сколько угодно часов и дней. Вельве... Теннис... Путешествия... Что еще нужно человеку?! Тенгизу уже трудно было подолгу оставаться на одном месте, в одном и том же городе. Расставания и снова встречи. Странствующий музыкант. Странствующий рыцарь. В его роду, среди его предков наверняка был кто-то из этого беспокойного племени. А возможно, это был просто бродяга. Поэтому-то и он стал «бродячим» теннисистом. Проводы, прощания, самолет, полет, встречи, потом игра, борьба, блаженная усталость и снова тоска по дому. Начиная с двенадцатилетнего возраста он объездил почти все крупные города Советского Союза. И это было только началом. Впереди его ждало многое: дворец Бурбонов, Монпарнас, храм святого Петра, Пьяццаль Пополо, Тауэр, молельня Генриха VII, Манхаттан, будда, храм Раджарана, озеро Амадеус, великий Рио и мало ли что еще. Талант теннисиста распахнет перед ним весь мир — и все это в возрасте двадцати — двадцати пяти лет: фешенебельные гостиницы, комфортабельные самолеты, интересные люди, знаменитости. Если не он, то кто — избранник судь-

бы? Неужто Пело или Симоника, а может, Пепо, Дзуку или Силибистро?

Он увезет Вельве... А что, если именно она — та единственная женщина, которая всегда будет ждать его, «бродячего» теннисиста, а потом встречать в сутолоке аэропорта — улыбающаяся, каждый раз новая, даже немного таинственная? Разлука и всегда — снова встреча...

Теннисисты заполняли раздевалку. Ураевский швырнул ракетку на подоконник и крикнул долговязому прыщавому парню:

— Борис, брось-ка мне спички!

Он сел в свободное кресло, вытер потное лицо полотенцем и совсем другим тоном сказал:

— Площадки мягкие, Тенгиз.

— Что? Трудно играть? — Тенгиз натянул белую майку, подошел к зеркалу и поправил волосы.

Проигравшему обычно старались не смотреть в глаза. С Виктором же было иначе — проигрыш никак не отражался на его поведении. Но удары — всегда удары, и Тенгиз знал, что в конце концов они сваливают любого, даже самого сильного. Виктору же осталось так мало, чтобы упасть...

— Да нет! Я не это имел в виду. — Виктор закурил. — Наоборот, играть приятно. Ни дождя, ни ветра.

— Даже когда проигрываешь? — вставил кто-то.

— Особенно когда проигрываешь.

— Как это?

— А вот так... Победа — это очень трудно. Во всяком случае мне она очень дорого обходится в последнее время. А вот проигрывая я ничего «не плачú». Теннис я люблю и тогда, когда проигрываю.

Корт был готов для финальной встречи. Линии сверкали первозданной белизной. Черная тугая сетка симметрично делила площадку, на которую — каждый на свою половину — вышли Тенгиз и Томасс. Старший судья перекинул мячи Тенгизу.

Тенгиз выбрал из четырех ракеток, которые были у него с собою, одну. Судьи заняли свои места. Большой теннис начался.

Томасс Хиоп уперся левой ногой почти в самую белую линию, дважды ударил мячом о землю и взгля-

нул на противника. Тенгиз чуть-чуть опустил плечи. Первый мяч Хиопа вышел за квадрат. Он отступил, приготовился и послал вторую подачу. Тенгиз принял ее слева. Томасс ответил и двинулся вперед. У самой сетки он красиво подпрыгнул. Прыжок был убедительный, отработанный, отлично рассчитанный.

Аплодисменты долго не стихали. Маленькая девочка перекинула мячи Томассу. подача — и он снова у сетки. Тенгиз же опоздал на какую-то долю секунды. Прыжок Хиопа — и мяч оставил четкую борозду в песке у задней линии.

«Наверное, пуля оставляет такой же вот след», — подумалось почему-то Тенгизу.

— 30:0, — объявил судья.

Зрители торжествовали — их Томасс красиво повел матч.

Снова сильная подача Хиопа. Однако на этот раз Тенгиз так удачно отбил ее, что Томассу не удалось достать его ответный мяч.

— 30:15.

Тренер закурил. Он сидел со своим ереванским другом в последнем ряду. Отсюда вся площадка была видна как на ладони. Если три партии продлятся больше двух часов, оставшихся восьми сигарет ему не хватит. Он посмотрел направо, туда, где разместились тбилисцы.

Тренер был мужчина лет шестидесяти, с лицом, изборожденным упрямыми резкими морщинами, и с совершенно седыми волосами. Издали он казался и того старше, но зато вблизи, когда хорошо были видны его маленькие, удивительно черные и живые глаза, он казался моложе своих лет.

Он был рядовым, самым обыкновенным тренером и сам знал это. Тем не менее он, а не кто другой, выстроил в Тбилиси на берегу Куры прекрасный корт, создал теннисный центр. Вот уже пятьдесят лет его незатухающей страстью, помимо тенниса, были книги. Они дарили ему встречи с необыкновенными людьми, которых не так-то много в жизни. Он постоянно и жадно читал, а потом старался воспитать в своих питомцах качества любимых героев — доброту, силу, стойкость, мужество, верность... Пожалуй, не так уж мало для одной жизни. Но порой его одолевали сомне-

ния: стоило ли посвящать именно теннису миллионы минут этой своей единственной жизни? Ведь мечта воспитать великого теннисиста — это такая же иллюзия, как летающая тарелка, лесные феи, как собственная улетевшая юность, как глаза ушедших из жизни близких...

На демонстрационной доске появился счет: 4:4. Тенгиз и Томасс подошли к столу у судейской вышки. Тенгиз вытер полотенцем лицо. Томасс отпил воды. К нему подошел фоторепортер, сказал что-то по-эстонски, щелкнул фотоаппаратом. Тренер снова закурил. Они — Тенгиз и Томасс — оба первоклассные теннисисты. Только Хиоп достиг своей вершины, исчерпал все свои возможности, и больше ему не расти, а вот Тенгиз...

Снова сильная подача Томасса Хиопа. Тенгиз с трудом парировал ее. Потом совсем легкий мяч отбил в сетку, а следующий разыграл и вовсе плохо. Тенгиз всегда был силен в игре с воздуха, а тут почему-то дождался, пока мяч почти коснулся земли, и только тогда ударил.

Тренер все понял — он понял, как сильно хочет Тенгиз выиграть это очко, понял, что он боится рисковать и потому просто-напросто выжидает, когда Хиоп начнет проигрывать сам: ведь часто наша победа — не что иное, как чей-то проигрыш. Однако, поняв, он не осудил своего питомца. Теннисисты знают, что временное малодушие — не позор.

— Твой парень проигрывает, — сказал Николай. — Ему не хватает расчетливости. У теннисиста должна быть голова шахматиста, он должен мыслить, как Беркли. Теннисист должен быть солипсистом.

Тренер промолчал.

Удар Тенгиза слева. Томасс откинулся назад и отбил по диагонали. Тенгиз сорвался с места, успел отбить мяч и прыгнул вперед. Хиоп быстро ответил. Тенгиз ударил еще раз, еще раз... Томасс едва успевал парировать.

— Томассу нужно было выйти вперед, — сказал Николай. — Он сыграл плохо.

И вдруг тренер пожалел, что сел с Николаем — сейчас он мешал ему.

Тенгиз, между тем, снова ударил и проводил мяч глазами. Томасс мощно взмахнул ракеткой и переместился вперед. Он по-прежнему двигался легко, быстро, точно. Теперь Тенгиз перекинул мяч через его голову — он мелкими шагами отступил, обошел мяч слева и высоко поднял его в воздух. Тенгиз успел пробежать несколько шагов к сетке и принять подачу.

Странно ведет себя сегодня тренер. Прежде он никогда не появлялся на площадке до начала игры. «Стареет, — подумал Тенгиз, — и хочет своей доли в успехе. Боятся, как бы не забыли о нем в случае победы». Томасс послал «резаный» мяч. Затем ударил в противоположный угол.

— В Грузии любят теннис? — спросил Николай.

— Да вроде нет. У нас поголовное увлечение футболом.

— Никогда не пойму этого, — продолжал Николай. — Ведь теннис — Гейне, а футбол — всего-навсего... кого бы назвать?.. Всего-навсего Берн.

Вдруг Тенгиз метнулся вперед. Тренер не сразу понял, что он задумал. Хиоп был у самой сетки. Он готовился к подаче, перемещение противника озадачило его, он заторопился, и удар получился слабый. Тенгиз пробежал еще два шага. Подачу он принял в воздухе.

Тренер повернулся к Николаю:

— Слушай, ты по-прежнему любишь наше «саперави»?

— Я по-прежнему люблю все грузинское и особенно горы.

— Так вот, если Тенгиз выиграет, вечером мы будем пить это вино.

— Отлично. Но...

— Что «но»?

— Я не представляю это вино вне Грузии.

После третьей партии был перерыв. Последние мячи Томасс разыграл неудачно и был недоволен собой. Обычно сдержанный, сегодня он явно нервничал. 2:1. Счет повел грузинский теннисист.

Тенгиз поднимался по лестнице, когда кто-то легко хлопнул его по плечу. Он взбежал еще на несколько ступеней и только тогда оглянулся. Вельве! Тенгиз подождал девушку, и дальше они пошли рядом.

— Чьи руки напоминают мне ваши руки, эти голубые жилки? — Они остановились под высокой елью, что росла возле тренировочной площадки, и она укрыла их от любопытных взглядов. — О эти прекрасные точеные пальцы!

Тенгиз коснулся руки Вельве.

— Боже мой, — засмеялась девушка, — почему это вы разыгрываете передо мной распущенного мальчишку?

— Я — не мальчишка, Вельве! Ты скоро убедишься в этом.

— Может быть... Может быть... Ты так смотришь... Сейчас ты похож... на орла. Это тебе больше нравится?

— Если победа будет за мной, я поднесу тебе ухо поверженного врага, как это водится в Испании. Тебе, прекрасная, я посвящаю этот бой!

Вельве пожала плечами:

— А мне больше нравится твоя родина. Если ты победишь, поступи лучше так, как принято поступать у вас.

В раздевалке Тенгиз сменил майку и сел в кресло. Он сидел и думал о том, что теперь, когда цель так близка, он ни в коем случае не должен проиграть эту встречу — просто не имеет права. Начинала действовать «гончая» Горация — *Carpe diem*. «Каждый теннисист мечтает стать чемпионом. Ошибаются те, кто разглагольствует о том, что радость приносит сама красивая игра, а не звание чемпиона. И кто только придумал эту чепуху? Не будь стимула, всякий спорт прекратил бы уже свое существование. Лично я борюсь за первенство. А разве в жизни происходит не то же самое, хотя об этом стыдливо умалчивают, в ней постоянно идет то явная, то скрытая борьба за первенство, борьба напряженная, беспощадная. Только в жизни «чемпионом» часто становится недостойный — слишком многое в ней зависит от случайностей и от других людей...»

В раздевалку вошел Виктор. Тенгиз тут же заметил, что он слегка навеселе.

— И когда ты только успел?

— Что, очень заметно?

Уже третий год Виктор Ураевский пил. Виктор

Ураевский, один из самых блестящих, талантливых теннисистов, утратил волю к победе, да и вообще волю — все поглотила страсть к выпивке. Тенгиз любил и уважал Виктора — хоть он теперь и катился стремительно в пропасть, он был в свое время большим спортсменом, настоящим, неукротимым бойцом, а хорошим и добрым человеком он остается и сегодня, и кто-кто, а Дито не имеет никакого права говорить о нем дурно.

— Когда мы летим, Виктор?

— Утром.

— Возьми нам билеты рядом, хорошо?.. Ого, десять минут уже прошло...

В четвертой партии Томасса точно подменили. Тенгизом же овладела какая-то апатия — казалось, ему опостылела игра, стало скучно и неинтересно посылать и принимать подачи, и пока мяч монотонно перелетал слева направо, справа налево, он думал о том, что вот и люди тоже чаще всего проходят один и тот же путь, и конец их ждет всегда один и тот же. Потом он снова стал думать о Викторе и в который раз был вынужден признаться себе, что тот нравится ему лишь как человек, потерпевший поражение, как сломленный человек. Затем Тенгиз вспомнил родной Тбилиси, проспект Руставели, свою школу. «Мои прекрасные грузинские слова «одрикела», «анцли», «бза», «дзигве»... Вы — приданое нашей души, вы — неотъемлемое наше достояние, Тбилиси, улица Кецховели — тихая, пыльная...»

Тренер то и дело глухо кашлял. Теннис свел его со множеством интересных людей и в их числе с врачом Георгием Хидашели. Это был образованнейший человек с тонким вкусом, галломан и заядлый курильщик. Когда тренер спросил его однажды: «Почему вы курите — вы ведь врач?», он ответил: «Медики всегда говорят о вреде курения, однако никто по-настоящему, научно не изучил ту неоспоримую пользу, которую оно нам приносит. Человеку необходима разрядка — сигарета дает ему ее, помогает расслабиться, снимает нервное напряжение». Обычно так же оправдывал свое курение и тренер, хотя и понимал, что такое количество сигарет уже не может даже просто доставить удовольствие.

Тенгиз опять допустил ошибку при ударе слева, и тренер в который раз подумал, что не сумел сделать всего для воспитания своего мальчика. Тренер чемпиона должен сам быть чемпионом среди тренеров — Александра Македонского под силу воспитать лишь Аристотелю. «А разве Тенгиз чем-нибудь выделялся в детстве? Он был обыкновенным учеником... А может быть, я что-то проглядел. Вполне возможно. Ведь я встречался с ним всего на какие-то два часа в день. А что было потом? Позже возникла трудность с исправлением этого неточного движения при ударе слева... Все не хватало времени. Его не хватает даже на то, чтобы сделать все, что нужно сегодня, и как его может хватить на то, что следовало сделать раньше. А если даже выкроить это время, вряд ли одно оно поможет. Нужна еще и уверенность в том, что можно наверстать упущенное в детстве... Ты все усложняешь — ведь речь идет о чемпионе...»

Тенгиз поправил ракетку, ударил и отошел назад. Потом еще раз ударил вполсилы и проводил мяч глазами. Томасс ответил ему и вытер левой рукой пот со лба. Мяч, как маятник, снова начал «ходить» туда — сюда.

«Тебе все должно быть по силам. Для тебя ничего не должно быть невозможным. Только не бойся борьбы, будь мужчиной. Будь мужчиной, Тенгиз... Впрочем, причем сейчас это...»

Томасс ударил справа, замер, потом переместился вперед. Посланный им мяч коснулся земли у самой сетки.

Томасс четыре раза подряд послал мяч в один и тот же угол, потом ударил в противоположный. Тенгиз сорвался с места, пробежал несколько шагов, прыгнул...

— Опоздал! — крикнул судья.

Он все же упал, хотя и оперся свободной рукой о землю. Поднявшись, вытер руку носовым платком и подумал о том, что в нем не осталось и капли воли, что он просто переоценил свои возможности.

Тенгиз послал мяч параллельно боковой линии. Томасс ответил в том же направлении. Тенгиз снова ударил в левый угол. Противник снова ответил

тем же, а потом «срезал». Тенгиз даже не попытался достать этот мяч.

«Когда ты побеждаешь, в тебе есть и воля и решительность. Ты храбр только тогда, когда речь идет о других... Проснись же, наконец! Куда же запропастился твой боевой петух? Почему молчит? Почему не будит тебя? Спит. Он тоже спит...»

Совсем рядом, в третьем ряду, он вдруг увидел Валерию — она улыбнулась ему, помахала рукой. Валерия подбадривала его. «Так... Самая красивая девушка среди теннисисток на нашей стороне... А где же Вельве?»

Он взял со стола бутылку и отпил несколько глотков. Томасс сменил ракетку. Он играл «Данлопом» — самым распространенным «оружием» профессионалов. Тенгиз поставил бутылку на стол, вытер губы. Хиоп отправился на свою половину.

Первую подачу Хиопа боковой судья не засчитал. Вторая его подача была слабовата. Тенгиз сильно ударил по восходящему мячу. Это был самый лучший из его ударов — Хиоп только проводил мяч глазами.

А потом Тенгизу свело судорогой ногу.

Через пять минут встреча продолжилась.

— Береги правую ногу, — сказал ему вдогонку врач.

Тенгиз рассеянно кивнул. На его сильную подачу Томасс опять ответил «срезанным» мячом. Тенгиз ударил еще раз, и Томасс еще раз «срезал».

— 0:15, — объявил судья.

Мальчик, похожий на розового поросенка, перебросил мяч Тенгизу, и он послал его в правый квадрат. Томасс «срезал». Тенгиз подбежал к сетке и ударил. Хиоп с трудом, но все же достал и этот мяч. Тенгиз откинулся назад, и тут опять почувствовал боль в ноге.

— 0:30.

«Это — конец», — подумал он. Он знал, что смерть и поражение бывают разные — естественные, внезапные, насильственные, случайные и, наконец, глупые... Он хотел успокоить себя, но чем? Он не верил в то, что победа может быть и в самом поражении. Это — теория неудачников-болтунов или бессильных стариков. Спортсмен знает, что проиграть — не позорно. Но все

равно проигрывать всегда больно, и глупо искать победу в поражении.

Тенгиз не берег ногу — судьбу матча он считал решенной. А Томасс перешел на оборону. Он посылал «длинные мячи» — один за другим, стараясь как можно дольше продержаться мяч в игре. После травмы, полученной Тенгизом, он полностью уверовал в свою победу.

Смирившись с неизбежностью поражения, Тенгиз вышел из оцепенения, владевшего им до сих пор, и это принесло ему победу. Последний мяч Томасс послал далеко за линию.

Зрители тепло встретили «рождение» нового чемпиона.

После торжественного закрытия чемпионата Тенгиз переоделся и сел рядом с тренером.

— Как просто все, — сказал он задумчиво. — Вот я и лучший теннисист такой огромной страны.

— Это потом кажется, что все просто, а «тогда» не так-то легко далась тебе победа.

— «Тогда» продолжается очень недолго. Зато «потом» — это уже навсегда.

Тренер чувствовал, что с Тенгизом что-то происходит. «Он недоволен собой. Он какой-то потерянный», — подумал старик и спросил:

— В чем дело, мальчик?

— После того как Томасс сравнял счет — 4 : 4, я сдался. Я не выиграл после этого ни одного очка. Это он сам проиграл.

— Победа — дело темное. Никогда нельзя знать заранее, к кому и когда придет она, — возразил тренер. — К тому же издали ты вовсе не был похож на сломленного.

— Издали, — усмехнулся Тенгиз. — Издали все мы похожи на Давида Строителя...

Вечером теннисисты собрались в ресторане. В полутемном зале играл лучший в городе эстрадный оркестр. Тут были только участники соревнований. Посторонних не впускали.

Вельве сидела за столом, вокруг которого собрались эстонские теннисисты. Как всегда, она была окружена поклонниками. «Не потому ли и тебя так тянет к ней, что она всегда в центре внимания? И не по-

тому ли еще, что она живет в другом мире и «играет» в этой жизни по другим, хотя и не слишком, но все же отличным от твоих правилам?»

Тенгиз повернулся к Ураевскому:

— Слушай, Виктор. Мне, может быть, понадобится твоя помощь.

— Тебя обидели?

— Околдовали.

— Чем могу служить?

Он был еще трезв, и лишь глаза его блестели чуть больше, чем обычно.

— Возможно, тебе придется уступить свой билет на самолет.

— Ладно, — ответил Виктор.

Только он умел так — с улыбкой, без лишних вопросов — выполнить любую просьбу товарища, если это было в его силах.

— В таком случае да здравствуют символы и предзнаменования, желания и стремления... И в двадцать лет не следует забывать, что живем-то мы один раз.

Тенгиз вошел в туалет, поправил перед зеркалом волосы и вернулся в зал. Теперь глаза у него были прежние — дерзкие, пронизательные — глаза гладиатора.

Его остановили теннисисты из Ростова.

— Еще раз поздравляем с блестящей победой.

Тенгиз улыбнулся. В этот вечер, может быть, впервые в его жизни, все искренне хотели поговорить с ним, сказать ему что-нибудь приятное, пожать руку.

— А осенью вы разве не приедете в Тбилиси?

— О, если войдем в команду.

Из глубины зала ему махала рукой Вельве.

— До встречи в Тбилиси, ребята.

Он помахал ей в ответ и пошел к ней между столиками.

— Сядь на минутку, — сказала она, — а потом мы потанцуем.

Вельве была в том же черном платье, только с белой розой на груди. «На этом теле и искусственная роза благоухает».

— Вы тоже теннисист? — спросил Тенгиза сидящий рядом с Вельве худощавый молодой человек.

Это был тот самый парень, который днем разговаривал перед гостиницей с девушкой в голубом. «Наверное, любитель красивых девушек», — подумал Тенгиз и ответил:

— Да, я тоже.

— А вот я теннис просто ненавижу!

Вельве что-то сказала молодому человеку по-эстонски. Он улыбнулся и опустил на мгновение голову. Его глаза светились собачьей преданностью и деланной оживленностью. Он изображал безгранично и беззаветно влюбленного. А может быть, так оно было и на самом деле.

— Он пьян. Не обращай на него внимания... Сядь напротив меня.

— Только у вас в Эстонии так красиво отмечают конец соревнований, — сказал Тенгиз садясь.

— Тебе нравится?

— Не хотите ли закурить? — спросил на ломаном русском худощавый парень. — Или мы не курим? Сохраняем форму?.. Боже мой, Вельве, какие разбойничьи глаза у этого твоего чемпиона!

— Он случайно не товарищ нашего Дито? — спросил Тенгиз.

Вельве засмеялась.

— Смотри, смотри, — вдруг воскликнула она. — Легок на помине. Давай удерем.

Дито, оживленно жестикулируя, шел к ним.

Они встали и пошли к эстраде, перед которой уже танцевали.

— Сколько тебе лет? — спросила Вельве.

— Двадцать.

— А мне в октябре исполнится двадцать два. Кончилась юность, Тенгиз.

— Возраст зависит от нас самих. Когда мне исполнится сорок, я возьму и вернусь назад — в двадцать. Я родился двадцатилетним и умру двадцатилетним.

Они долго танцевали. Музыка, танец, выпитое — от всего этого у Тенгиза слегка кружилась голова. Да и Вельве впервые была так близко. И вдруг он подумал: «В любви все — непонятно. Вельве никогда не будет моей. И вообще ничьей она не будет. И ничего с этим не поделаешь».

Но он все же сказал:

— Завтра мы летим в Тбилиси. У меня и для тебя есть билет.

— Правда?

— Да. Ведь начались каникулы, и я три недели не прикоснусь к ракетке. Несколько дней мы проведем в Тбилиси. Потом я повезу тебя в Гагра. А если ты захочешь, покажу тебе горы Гурии. Ты согласна?

Вельве смотрела на него снизу вверх, и он понял, что все решено между ними. «Вот, сегодня во второй раз победа достается мне, когда я теряю на нее всякую надежду», — подумал Тенгиз и улыбнулся.

Они вернулись к столику.

Перед гостиницей Вельве спросила:

— А что мне взять из одежды?

На следующий день они вылетели в Тбилиси. Наверху, над облаками, на высоте в восемь тысяч метров Тенгиз вспомнил о старом тренере:

— Ты случайно не заметила тренера?.. Был он на вчерашнем банкете? Неужели он все-таки слег?

ИСТОРИЯ ПОХИЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ВЕЛИКОГО МАСТЕРА КРИСТОФОРИ

МАРЛЕН перестал смотреть на стрелку секундомера и невесело посмотрел на приближающегося к нему бегуна.

Правая бровь Марлена причудливо изогнулась. Он махнул рукой — стой, мол. Соломон остановился. Он часто-часто дышал.

— Кассиус Этрусский написал столько стихов, что потом их хватило на его погребальный костер — дров не понадобилось, — сказал тренер Соломону.

Соломон, сощутив глаза, посмотрел на тренера:

— А если выразиться попонятнее?

— Кое-что, мой Соломон, человек должен понимать и сам, — покачал головой Марлен. — А не объявил ли ты войну своему желудку?

— Да нет, ем нормально, — солгал Соломон, вытирая пот со лба...

Шел 1946 год.

— Послушай, одной любовью, даже самой что ни на есть великой и самозабвенной, ни в одном деле нельзя добиться успеха. Тебе не хватает мяса — интересно, сколько ты вешишь? — и еще сущего «пустячка», маленького подарка богов — таланта, способностей. Сегодня ты уложился в норму второго разряда, а это очень мало или совсем ничего. Соломон, Меркурия из тебя не получится.

«Такие вещи нужно говорить прямо».

— Но во всем бывают исключения, Марлен.

Тренер всегда улыбался, когда этот упрямец так обращался к нему. «Что с него возьмешь!»

— Исключения могут быть во всем, но не в беге на десять километров. На свете уйма вещей, которыми может увлечься человек, — танцы, решение уравнений, рыбная ловля, наука, женщины, фотография... А что интересует тебя? Чего хочешь ты?

— Бегать, Марлен.

Тренер безнадежно махнул рукой и отошел. «Он помешался на беге, а я должен зря тратить на него свое время!».

Соломон побрел в раздевалку. Он принял душ и стал вытираться перед зеркалом. Отборочный турнир должен начаться через несколько месяцев. Соломон швырнул полотенце на скамейку, еще раз придирчиво оглядел свое отражение и подумал, что тренер частично прав, однако исключения все-таки бывают во всем. Вот, например, вес мозга Анатоля Франса едва достигал тысячи граммов...

Когда Соломон бегал, он забывал обо всем на свете. Бег освобождал его от повседневности, обострял чувства и мысль. Только бегая, Соломон чувствовал себя человеком. Свободным человеком. Он был уверен, что призвание человечества — бег — бег в открытом поле и по асфальтированным дорожкам... Тем, кто всегда всем доволен, довольно и общество, оно доверяет ему. Такие вопросы, как «что есть жизнь?», или такие мелочи, как «собственность», «жестокость», «насилие», никогда не приходили в голову Соломону, когда он бегал. Бег давал ему забвение, время переставало для него существовать — оставалось лишь пространство и стремление преодолеть его.

Бег срывает с человека все покровы и обнажает всю красоту и совершенство его тела, делает явными лучшие его свойства, и тогда вид человеческой наготы доставляет подлинную радость.

Когда ты бежишь, никому не придет в голову спросить тебя: кто ты, откуда ты, герой ты или трус, какая у тебя зарплата... Ты бежишь — и тебе нет дела до настоящего и будущего.

Что сравнится с той минутой, когда поток воздуха упруго, мягко бьет тебе в лицо, когда из глубины твоей грудной клетки рвется наружу что-то неведомое, когда все вокруг — мелькнет и исчезнет, а ты бежишь себе и чувствуешь себя мужчиной.

Однако тренер с сомнением относился к Соломону. «Идея спорта — все же результат и победа», — говорил он. «И это будет», — отвечал упрямый бегун. По мнению жены, ее родственников и некоторых друзей, приличному двадцативосьмилетнему мужчине полагается бегать только в поисках денег. А вот один приятель, сотрудник Института философии, сказал как-то Соломону, что некий китаец Лао-Дзи много веков тому назад проповедовал бездействие, он учил: если все люди откажутся от действия, от всякого движения, то на земле быстро воцарятся мир, взаимопонимание и всеобщее счастье.

А между тем кого-то непреодолимо влечет к себе перо, а кого-то фонендоскоп, у одного в голове прочно засело кресло, у другого — ослиный хвост... а вот у Соломона — ноги, маленькие, миниатюрные ноги — левая в правой гемисфере мозга, правая — в левой. Вот почему столько бегал Соломон.

Он решил отправиться в горы.

На следующий же день Соломон объявил о своем решении жене. При этом он не поднимал головы, чтобы избежать ее взгляда. Она же не повела и бровью, стояла, как мраморное изваяние, и в это мгновение вполне заслужила бы одобрение леди Клитемнестры и Елены Прекрасной, столь бестрепетно проводивших своих мужей в мир иной. Тогда Соломон попытался приласкать ее — ведь именно так мужья всегда и везде стараются смягчить жен. Но не тут-то было. Русико не дала ему и прикоснуться к себе.

У Русико было нежное лицо, доброе сердце и заветная мечта — хрустальные люстры, спальня «тюльпан», шелковые занавески на окна, японские покрывала на кровати, фортепьяно. Между Русико и Соломоном пролегла трещина непонимания, и они смотрели друг на друга с противоположных ее сторон.

Бегун прихватил с собою в горы дальнего родственника по имени Антиопе. Вид горных хребтов потряс Соломона. Перед лицом их величия он оцепенел и долго-долго смотрел в пространство. А переход через бурную реку по висячему мосту подействовал на него, как хорошая затяжка опиумом.

— Антиопе, гляди, как красиво...

Они поселились рядом с деревней, расположенной в неприступных горах, выбрали красивую лужайку и раскинули на ней палатку. Лунные ночи приобщили их к тайне могущества и бессмертия великого сына гор*.

Соломон приволок из деревни корову. Эта флегматичная животина с огромными влажными глазами исправно снабжала их молоком. Соломон позаботился и о мясе — раз в три дня живодер Мамука доставлял им телячью лопатку или целого барашка.

И настали неповторимые дни — ослепительные, убийственные для души, благоуханные, полные мяса и озона. Вскоре уже нельзя было пересчитать ребра у нашего бегуна. Кожа его стала гладкой.

Он бегал и бегал. Его не смущали ни солнце, ни ветер. В перерывах же он карабкался на скалы, взбирался на неприступные кручи, гонялся за огромными желтыми бабочками, слушал пение птиц. Он не мог насладиться вознесенными к небу горными вершинами. О, мать божья Мария, какие беспредельные просторы открывались с их высоты!

— Антиопе, жизнь интересна потому, что у человека есть ноги и он может бегать.

— А разве крылья не больше украсили бы его?

— О нет, Антиопе. Главное, держаться героем и довольствоваться тем, что не превышает твоих сил, ума, анатомических данных, воли и судьбы.

— И где только ты раздобыл столько денег, Соломон?

* Имеется в виду Важа Пшавела.

Бегун опустил голову.

Когда в сумерки бегун возвращался в палатку, Антиопе разжигал огонь, и они ужинали. Они подолгу жевали, смакуя каждый кусочек. В последние дни Соломон за один присест съедал целого барашка и целую кастрюлю лобио.

Но два месяца пролетели, как эфемерный сон... Как и сама жизнь, прошли они быстро, пронеслись, пришли к концу...

Прозвучал стартовый выстрел. Бегуны сорвались с места. На Соломоне была пестрая майка, и он выделялся среди остальных. Его покрытые темным горчым загаром лицо, шея и ноги даже издали обращали на себя внимание. Соломон бежал великолепно. После первого же круга он оказался впереди. Но тренеры не опасались бегуна под номером двадцать восемь — каждый из них непоколебимо верил в успех своего питомца. Соломон же все больше отрывался от ведущей группы, делался все более недосыгаемым.

Марлен стоял у барьера западной трибуны. Участники соревнования в пятый раз обежали стадион. Впереди по-прежнему бежал его Соломон. Марлен снял кепку и глянул на секундомер. Пятый круг Соломон покрыл быстрее, чем четвертый. Он показывал рекордное время. «То-то будет заварушка!» — подумал тренер. Он не сводил глаз и с двадцать седьмого номера, который после пятого круга ощутимо прибавил скорость.

Соломон свободно работал руками и легко выбрасывал вперед ноги. Ветер дул с северо-востока. Когда он бежал в северном направлении, то использовал и силу ветра.

Лишь раз Соломоном овладело отчаяние, и это были мучительные мгновения — он ощутил нестерпимую боль под ложечкой, у него перехватило дыхание. Его глаза стали, как полная луна, а губы — как стручок лобио. Вот когда пришлось Соломону собрать всю силу воли.

Когда бегуны проходили уже десятый круг, среди зрителей начался переполох — у восточной трибуны один из спортсменов упал. Марлен ждал этого — он давно ждал, что вот-вот разразится гром. «Что ж, теперь-то уж поостынет мой герой». Когда же он снова

увидел на беговой дорожке Соломона, то не поверил своим глазам. А вот двадцать седьмого не было видно. Марлен оперся о барьер. Одна его бровь непрестанно прыгала. Потом он оторвался от барьера, распрямился и стал нервно, с громким хрустом разминать пальцы рук. Секундомер показывал невиданное время. А что если он ошибся и в этом человеке? Неужели же ему никогда не познать радость, испытываемую при виде новых берегов? Похоже, что открытие новых земель — дело людей покрупнее него. Сейчас еще раз подтверждалась эта непреложная истина.

— Марлен, Марлен! — несколько раз уже прокричал директор стадиона. Потом он подошел к тренеру и тронул его за плечо: — Никак не дозовусь тебя.

Рядом с ним стояли молодая женщина и лейтенант милиции.

— Меня увлекло состязание.

— Спрашивают Соломона, — сказал директор, — его жена и районный инспектор.

Марлен приложил палец к своей прыгающей брови. Лейтенант свирепо посмотрел на него, поднес правую руку к козырьку и сказал:

— Я должен задержать его.

— Кого?

— Соломона Дгебуадзе.

— Вот закончатся соревнования, тогда — воля ваша.

— Я задержу его немедленно.

Марлен оглядел лейтенанта и улыбнулся.

— А что вы ответите стольким зрителям? — он простер руки к трибунам. — А все же: что он натворил?

— Украл фортепьяно.

— Инструмент великого мастера Кристофори, — сказала заплаканная миловидная молодая женщина.

— Где украл?

— В собственном доме, — пояснил лейтенант, — три месяца тому назад, перед отъездом в горы.

— А где вы были до сих пор?

— Я сегодня только обнаружила! — всхлинула женщина.

— Что, это было игрушечное фортепьяно? — снова улыбнулся Марлен.

— Он похитил деньги, которые я скопила на покупку фортепьяно, растратил их, а я их целые два года собирала... Тюрьма по нем плачет.

— Вы что, консерваторию кончали?

— Бухгалтерские курсы...

— Вы кого предпочитаете — Моцарта или Бетховена?

— Ни того, ни другого.

— Генделя, может быть?

— Я поклонница джаза.

— Вы свободно играете на фортепьяно?

— Друзья и родственники играют... Я умею аккомпанировать на гитаре.

Лейтенант не сводил глаз с женщины. Несчастье придавало лицу Русико таинственность и какую-то особую, трогательную беззащитность. Печаль на лице женщины — это неповторимые светотени великого мастера — природы.

А вокруг были солнце, крики, спортивный азарт. И только Русико стояла среди всего этого потрясенная и страдающая. Сейчас она осознавала лишь человеческое вероломство и чувствовала только ветер, который дул в ее опустошенное сердце с северо-востока.

В это время мимо пробежал Соломон. Он бежал по-прежнему легко и красиво. Зрители восторженно приветствовали своего фаворита. Они лузгали семечки, дымили папиросами, уплетали мороженое и призывали бегуна к героизму. Ноги Соломона восхищали зрителей. Они мелькали с неправдоподобной, непостижимой быстротой, сея любовь, веру, радость, улыбки и пыль, будя в сердцах добрые, дружеские чувства.

Все это почувствовала и увидела Русико. Ее невезучий, вечно голодный и безденежный муж тут, на ее глазах, становился человеком. Когда один встает на ноги, расправляет плечи, другому кровь бросается в голову. И вдруг вместо слез в глазах Русико засверкало пламя.

— Немедленно схватите его, — повернулась Русико к лейтенанту.

— Того, кто овладел искусством бега, не удержать! — сказал Марлен.

— Может, оставим его в покое, калбатано? Мужчина, который наплевал на фортепьяно и убежал от вас в горы, недостойн вас.

— Ах, вот как! Так я и знала! — взорвалась молодая женщина, потом повернулась к тренеру: — Сколько осталось кругов?

— Один, и все присутствующие станут свидетелями чуда, — у Марлена снова запрыгала бровь.

— Последний, значит? — спросила Русико и усмехнулась.

— Я не утешаю вас, но все на этом свете в конце концов можно уладить... А вот улыбка вам к лицу, калбатано, и я прошу вас быть готовой принимать поздравления.

Кроме бега и свободы, Соломон любил еще свою жену, по-своему любил. В юности вам всегда кажется, что жизнь бесконечна, что ее вам на всех и на все хватит. Вы не боитесь ни жары, ни соседей, ни сотрудника, ни наготы, ни венерического заболевания, ни неурожая картофеля. Но идет время, жизнь берет свое, и единственное, что может дать вам надежду, когда ноги ваши подкашиваются и вы понимаете, что свобода — мираж, это сердце другого человека — любимой женщины. Это Соломон отлично понимал. Его и Русико связывало не одно только фортепьяно. Было немало и другого... Это Соломон помнил. Вот почему, когда вдруг на беговую дорожку выскочила Русико и повисла у него на шее, ему стало даже приятно и он даже в свою очередь приласкал ее, а потом сказал:

— Я сию минуту вернусь к тебе.

Но женщина не размыкала рук.

— Не оставляй меня, — улыбалась она.

— Русудан, я, действительно, почти добился победы, но «почти» всегда остается «почти», и этого никогда недостаточно. Вот разорву финишную ленту и потом, сколько тебе вздумается, буду носить тебя на руках.

Женщина еще сильнее прижалась к мужу. Тогда он попытался осторожно высвободиться из ее объятий. Один из бегунов уже почти догонял его.

— Русудан, прекрати... Русико, тут тебе не Рим и не Вавилон, а тбилисский стадион.

И тут он заглянул в ее глаза, глаза кошки. В них он прочел смысл поведения жены и содрогнулся. Соломон со страшной силой рванулся вперед. Так он пробежал тридцать метров. Потом один из соперников обогнал его. «Оказывается, женщина — самая тяжелая ноша». А когда у него стали подгибаться колени, он усомнился во всемогуществе человека.

Повиснувшая же на его шее Русико смотрела назад через его плечо и считала про себя: «Одно фортепьяно, два, шесть, четырнадцать фортепьяно...» Как годы и века, опережали лидера все участники соревнования.

Затем он собрал последние силы, снова рванулся вперед и вместе с женой пересек линию финиша. Зрители никак не могли понять, что за трагедия разыгралась у них на глазах там, внизу. Но их радость была безгранична. Ведь и это тоже была победа. Какая разница, когда ты завершишь забег, будешь первым или последним, умрешь в сорок лет или в девяносто, будешь жить в городе или в деревне, дашь жизнь десяти детям или только одному ребенку. Не в этом суть. Суть в том, как ты пробежишь свой путь, как будешь вести себя в бою или в беде, за какую цену продашь ближнего, во что тебе обойдется твое благоденствие, в обмен на что отдашь ты свою душу, мужество, свободу, если таковые существуют.

А Русико улыбалась, сияла от сознания свершенного ею возмездия. Но когда она уже была готова праздновать окончательную победу, что-то заставило ее вздрогнуть. Какое-то новое чувство охватывало ее. Боль, злость, растерянность постепенно ослабевали, развеивались, исчезали. А взамен их просыпалось чувство, похожее на радость, которую испытываешь, когда вдруг снова найдешь потерянного в лесу щенка, друга или браслет.

Волнение жены передалось и Соломону. «Женщина — не сеть и не тенеты. А любимые руки Русико, разве могут они быть в тягость!», — думал он.

Так хорошо и легко им никогда еще не было.

— Как я счастлива, — глаза Русико улыбались, светились.

— И я, дорогая... Что это со мной такое?

Женщина еще крепче прижалась, прильнула к нему и... слабым голосом спросила:

— А все-таки одно пианино ты ведь купишь мне, Соломон?

ГДЕ МОЯ БУДУНА?

Я СИДЕЛ на балконе. Я смотрел на засыпанную опавшими желтыми листьями улицу. Деревья, казалось, задыхались. Чьи-то огромные, черные и душные крылья накрыли пространство. Ветер подхватил с тротуара лист, закружил его и умчал куда-то.

Худая — кожа да кости — кошка лежала у моих ног и теребила шнурок ботинка. Кошку звали Будуна, и, кроме меня, никого на свете у нее не было.

Передо мной были все те же привычные предметы, та же улица, те же деревья и все та же осень. Но в эту минуту все казалось мне изменившимся — мы не узнавали друг друга — я и то, что было перед моими глазами.

Мною овладело странное чувство нереальности — кто-то взял и придумал все это: и город, и Будуну, и меня, и даже завтрашнюю мою женитьбу. Я сидел на балконе. Я смотрел на улицу...

А несколькими часами раньше я робко приоткрыл дверь редакции литературного журнала «Шукура». В комнатах не было ни души, однако в последней — самой маленькой и пыльной — я все-таки нашел того, кто мне был нужен. Он увидел меня и глухо кашлянул. После короткого приветствия я сел на шаткий стул, положил на колени свой пустой портфель и попытался избавиться от заискивающей улыбки, которая — я это знал — независимо от меня появилась на моем лице.

— Я прочитал ваши рассказы, — сказал мне он, член редакционной коллегии журнала.

Неожиданно для самого себя я громко хмыкнул. Стол члена редколлегии был завален бумагами. В руке он вертел китайскую авторучку. Пиджак накинут на сутулые плечи. Он отпускал бороду, и, может быть, поэтому лицо его казалось мрачным и выражало полнейшее безразличие ко всему на свете.

— Сколько рассказов вы нам принесли? — спросил он, глядя на меня воспаленными глазами.

— Двенадцать, — ответил я и слегка подался вперед.

— Двенадцать, — повторил он и выдвинул ящик своего стола.

В ящике моих рассказов не было. Тогда, не вставая, он повернулся к шкафу. Их не было и там. Он снова выдвинул ящик и через некоторое время все-таки извлек оттуда зеленоватую папку.

— Это они, — сказал я.

Он положил папку на стол и раскрыл ее.

— По профессии вы врач, не так ли?

— Да, да!

— Чувствуется, — проговорил он, глядя в рукопись. Потом уточнил: — Это чувствуется по вашим рассказам.

О существовании моих рассказов знали: я, он, член редакционной коллегии другого литературного журнала «Варсквлави» и двоюродная сестра моей мачехи.

Член редколлегии журнала «Шукура» поднял голову и с сочувствием улыбнулся мне. И тут я без слов понял, что, конечно же, его окончательное мнение полностью совпадает с мнением его коллеги из журнала «Варсквлави». В этой улыбке я прочитал приговор.

— Вы точно шеголяете тем, что вы врач.

Я молча смотрел на него. Порой я кивал. Я так же кивал и его коллеге из «Варсквлави», когда тот говорил мне, что в моих рассказах, написанных на медицинскую тему, абсолютно не чувствуется, что я врач.

Члену редколлегии «Шукуры» не понравилось то, что так или иначе привлекло внимание члена редколлегии «Варсквлави», но он похвалил то, что тот счел вовсе неприемлемым.

Прощаясь, он сказал мне:

— Прежде чем научиться ходить, человек не падает и набивает шишки и синяки...

-- Большое спасибо...

Домой я пришел разбитый, уничтоженный. В маленькой, без единого окна кухне я зажег керосинку.

— Вот так-то, — сказал я, имея в виду конец своей литературной карьеры. Я разуверился в себе. Я повернулся спиной к моим демонам.

Я поставил на керосинку кастрюлю с остатками вчерашнего борща. Из соседней комнаты доносилась знакомая моцартовская мелодия. Там жил одинокий старик, пенсионер, бывший учитель музыки.

Когда редакция «Варсквлави» вернула мне мои рассказы, я немедленно перечел всю художественную прозу, напечатанную в этом журнале за последние годы, и еще раз сказал себе, что писателей у нас все-таки нет. Потом я вспомнил тридцатитрехлетнего Мопассана и судьбу его первого рассказа, вспомнил, что и первый роман Флобера был раскритикован его первым читателем. Я вспомнил Бараташвили, Ювенала, Ван Гога, Эдгара По, Булгакова и снова засел за свой старый, массивный письменный стол. Но порою мне все же вспоминались слова члена редколлегии журнала «Варсквлави»: «Кончай эту комедию... Человечество, человеческое общество — это единый организм, одно огромное тело, и важнее всего не оказаться последним, вскарабкаться повыше и устроиться хотя бы на его плечах. Главное — это, а все остальное — да пропади оно пропадом!..» — и тогда мне казалось, что он прав.

Каждый день из больницы я шел прямо домой. В пять мы с Будунной обедали. Ложился я поздно, когда все спали — и город, и моя кошка...

Борщ так и остался на керосинке. Я сидел на балконе и бездумно смотрел на улицу. В этом медитативном состоянии и застала меня двоюродная сестра моей мачехи.

* * *

— Альберт, — резко окликнула меня Тамар. Я оглянулся. Будуна убежала.

— Это ты?..

Она стояла посреди комнаты, сдвинув брови и подбоченясь.

— Ты знаешь, кто ты? — в ее глазах было презрение и отвращение ко мне.

— В чем дело, Тамар? — спросил я, поднимаясь.

В комнате было уже почти темно. Старинные настенные часы учащенно тикали. Такой нарядной двоюродная сестра моей мачехи никогда еще не появлялась

тут. За гоіе — мой взгляд остановился на этом слове, выведенном на циферблате часов. Да, мы выглядели весьма жалко на фоне этой блестяще одетой женщины — я, Будуна и комната.

— Знаешь, почему я пришла? — спросила она.

— Догадываюсь, — ответил я.

— Но прежде, чем высказать тебе все, я покурю.

— Хорошо.

Она открыла сумочку и вынула пачку «Сакартвело». Я предложил ей стул, но она не села. Она закурила, глубоко затянулась.

— Не воображай, что твоя женитьба разбивает мне сердце, — проговорила она наконец. В ее глазах было отвращение. — Я пришла, чтобы сказать правду.

— Что ж! И я нынче не на коне, — сказал я ей. — Мой Мерани на деле оказался всего лишь упрямым осликом.

Она искоса бросила на меня быстрый взгляд. Все, что она сказала мне потом, было правдой — она действительно так думала и так чувствовала, но сейчас она солгала. Я давно уже был у нее на примете. Одна женщина — мать двух красивых детей принесла мне как-то на день рождения торт — такой большой, что оба ее ребенка с трудом втащили его в мою комнату. «Поздравляем вас, дядя!» — сказали дети в два голоса. «Спасибо», — ответил я и принялся накрывать на стол. Мы приятно провели вечер. Женщина заглядывала мне в глаза и говорила: «Ничего нет лучше детей и семьи». Она недавно разошлась с мужем... Однако упорнее всех обхаживала меня Тамар. Она даже была уверена, что рано или поздно, но обязательно добьется своего, и у нее были для этого некоторые основания — мы с нею очень сблизились, у нас оказалось много общего: гордость, любовь к книгам и некоторые взгляды на жизнь.

— Так вот слушай, — сказала она.

— Пепельница за тобой, — сказал я.

— Вижу.

Она села на диван, закинула ногу на ногу.

— Может, принести тебе боржом?

— Не хочу... Так вот... Нет на свете писателя беднее тебя. В тебе нет ни крупицы таланта... Возьмем хотя бы язык... Это оскорбление Ильи и Акакия!

Тут я вспомнил про борщ и встрепенулся.

— Что с тобой? — спросила меня Тамар. Я ответил.

— Сначала изволь выслушать меня, — сказала она раздраженно и повелительно.

— Ведь выкипит же, Тамар.

— Послушай, современная грузинская литература проникнута оптимизмом, у тебя же все кошмары какие-то. Сразу чувствуется, что пишет человек честолюбивый, озлобленный, замкнувшийся в собственной скорлупе... Щенок, что ты смыслишь в женской натуре, а все пишешь и пишешь о ней.. Да был ли у тебя кто-нибудь до меня?

— Нет.

— Вот видишь. Тут ты сноб... И потом — никакого вкуса. Разве человек со вкусом может написать такое: «Душа человека помещается в левой половине его сердца...» Или: «Манон была одновременно молоком, медом, вином и обладательницей сберкнижки на пять тысяч рублей». Когда я читала это, меня бросало в жар и в краску. Впрочем, краснела я раньше, когда еще считала, что в тебе есть хоть капля совести.

— Тамар, скажи честно — тебе действительно не нравится ни один из моих рассказов?

— Ни один.

— И тот, который об обманутых надеждах?

— И тот... Человек, лишенный совести, доброты, не рожден для славы.

— Постой. Выходит, раньше ты притворялась.

— Я жалела тебя, — сказала она и поднялась. — Да, и еще — ты вечно бездарно подражаешь то Хаксли, то Нико Лордкипанидзе... Послушай, Альберт, почему ты оскорбил мои лучшие чувства? Это правда, что мне сказали?

Вдруг я заметил затаившуюся под кроватью Будуну. Почему это член моей семьи должен где-то прятаться? Тогда я прямо посмотрел на женщину и понял, что не люблю ее, так же как и моя кошка.

— Чем она лучше меня, эта девчонка? Сколько раз я стирала твои грязные носки и белье. Ты и это уже забыл!

Две фальшивые слезы скатились по ее щекам. Впрочем, она отвернулась. Потом она под села ко мне, обняла меня, привлекла к себе.

— Побить тебя мало, — сказала она. — Да, да, ты — большой ребенок, невоспитанный и увлекающийся. Ведь мы созданы друг для друга. Разве мы можем расстаться?

— Можем, — сказал я и осторожно отстранился.

Тут она вскочила, сказала: «Прощай!» и исчезла — навсегда.

Когда она ушла, я собрал все свои рассказы, свалил их в старый дырявый таз и сжег до последнего листочка.

На следующий день я женился. Святой Георгий! Как трудно сохранить разум в минуты большого счастья! Почти невозможно! Первый месяц был подобен прекрасному сновидению. Ошеломляющее, ослепительное ощущение счастья, жар страсти и благоухание, безумие и благородство, торжество гармонии души и плоти, блаженное паломничество в незапамятное прошлое, в благословенную пору золотого детства человечества. Мы или лежали в постели или, взявшись за руки, бродили по улицам. Мы были на горе Махата, на Тбилисском море, на Мтацминда, во Мцхета, на озере Лиси и на Черепашьем озере, мы объездили все пригороды. Тбилиси, такой привычный, что я почти перестал замечать, каков он, очаровал меня.

Мы возвращались с Нарикалы. За нами шла группа туристов. Я остановился и спросил по-французски какую-то иностранку:

— Вам нравится Тбилиси?

— О, конечно.

Короткий спазм перехватил мне горло. Справившись с ним, я снова спросил:

— Ведь правда, что он — как маленький Париж? Тбилиси — маленький Париж, ведь правда?

— О, он лучше, лучше Парижа, — улыбнулась женщина.

— Спасибо, спасибо. — пробормотал я и отошел. Но тут же вернулся и указал на Мери — на мою жену:

— А такие красивые девушки есть у вас в Париже?

Ах, как хороша в эту минуту была моя Мери!

— Ваша подруга, — сказал мне пожилой усатый француз, — необыкновенно красивая женщина. В этом-то вы можете не сомневаться, молодой человек.

Мы пригласили было французов к себе, но тут сопровождавший их грузин шепнул мне в самое ухо:

— Чем быстрее вы уберетесь отсюда, тем будет лучше.

— Ладно, — ответил я ему, и мы пустились в поход по магазинам.

Вот ради этого Мери была готова отправиться хоть на край света. Широко открытыми, блестящими глазами смотрела она на все подряд: на ткани, на разные там украшения, сумки, чулки, туфли, на духи и меха, и была счастлива. Ей не было и двадцати, и смотрела она восторженно и жадно. А я не сводил с нее глаз и все пытался понять, чем же она так околдовала меня. Да и не я один — весь наш двор был покорен ею. Соседи из-за занавесок наблюдали, как сгружали нашу новую мебель... Старую забросили в кузов той же машины. Последним был вынесен мой письменный стол. «Жизнь вещей еще короче нашей, — подумал я тогда, — однако под конец они держатся достойнее — ни одного слова, ни единой слезы, только какую-то невнятную, глухую боль оставляют по себе...»

На следующий день нас посетили соседи. Они входили по очереди, поздравляли нас, хвалили вкус Мери. Они осторожно садились в кресло, с нежностью касались шкафа, кровати. Трогали клавиши рояля, который с готовностью отзывался чистым, печальным звуком. А вечером я невольно подслушал разговор. Я был в нашей общей уборной, задумался, и вдруг в соседней комнате заговорили.

— Ничтожество, — говорила соседка сыну, — видишь, какую жену он привел. Нам и не снились такие перины, одеяла и занавески. А что принесла твоя жена? Одной наволочки она не принесла!

У каждой женщины — своя тайна, своя неповторимая улыбка и свой свет. Когда Мери входила в комнату, с нею вместе входил свет утра.

— Юлий Цезарь окончательно завоевал Рим тогда, когда покинул его. Мери, когда ты встаешь с по-

стели, когда выходишь из комнаты, ты — кесарь, а я — покоренный Рим.

Мери звонко смеялась. А мне, действительно, каждая минута без нее казалась великой мукой. Но не бывает, чтобы самую огромную радость не омрачила хотя бы капля горечи.

— Но, Мери, дорогая, когда я был одинок и не был счастлив, только Будуна была со мной. Когда люди причиняли мне боль, она одна была рядом.

— От кошек глисты, они — разносчики токсоплазмоза и бог знает чего еще. Ты должен это знать лучше меня.

— Да, конечно, но...

И Будуна была изгнана. Я сам снес ее на улицу, посадил на тротуар и стремглав взбежал обратно по лестнице. Она смотрела мне вслед печальными, влажными глазами... Однако за Мери я отдал бы тогда тысячу Будун.

Через месяц Мери сказала мне:

— Альберт, кого ты будешь любить больше — мальчика или девочку?

Я выронил молоток, которым в эту минуту вбивал в стену гвоздь. Потом я вынул изо рта другой гвоздь:

— Мери, неужели так быстро?

— Что, дорогой?

— Ну... — я растерялся. Я просто онемел. Потом спустился со стремянки, на которой стоял, и осторожно положил руку на ее живот.

Она засмеялась.

— Нет еще... Но все-таки — кого ты хочешь больше?

— Не знаю... Должно быть, мальчика.

— Почему? — Она провела рукой по моим волосам.

— Наверное потому, что мужчин я знаю лучше. Мальчику мне легче будет помочь, предостеречь его от ошибок...

— На, возьми, — Мери протянула мне молоток.

— А я подумал, Мери...

— Ты продолжай, продолжай...

— Спасибо, — я взял из ее рук молоток и снова взобрался на стремянку.

- Какой язык ты изучал? Английский?
- Английский и французский.
- Почему тебе так нравятся французы?
- О! У французов — великие писатели. Народ, который жизни и борьбе учили Рабле, Монтень, Вийон, Корнель, Расин, Буало, Декарт, Монтескье, Паскаль, Шатабриан, Вольтер, Руссо, Мольер, Дидро, Мюссе, Флобер, Стендаль, Мопассан, Дюма, Гюго, Бальзак, Рембо, Бодлер, Малларме, Пруст, Сартр, Камю, не может быть поработан какой-то «сильной» личностью или другим народом.
- Французы любят и деньги, Альберт... Какая у тебя зарплата?
- Сто рублей.
- Хочешь, я дам тебе хороший совет?
- Дай.
- Ты должен начать писать диссертацию.
- Диссертацию?
- Вот именно.
- А если мне противна фальшь? Кому нужна моя диссертация?.. Послушай, девяносто процентов всех диссертаций пишут дельцы и проходимцы...
- Но она обеспечит наше благополучие, Альберт.
- Благополучие, построенное на фальши и лжи... Мери засмеялась.
- Неужели, Альберт, тебе не хочется, чтобы твой сын говорил тебе по утрам: «Бон жур, папа!»

Наверное, уже третий час. Мери спокойно спит. Вот с чьей помощью осуществится мое бессмертие. Вот почему бессмертно человечество. Как, когда зарождается желание?.. В темноте, во мраке, как и все, чему должно родиться, — ручей, плод, зерно или грусть.

Мы еще не топим. Холодно. Мери спокойно, легко дышит. Почему я не сказал ей всего утром? Она бы поняла. Ведь это так просто — человек может прожить без английского языка, без джинсов, а деньги... Бог с ними, с деньгами. Они как блудница — сегодня с одним, завтра с другим. Главное — что-то совсем, совсем другое... Но знаю ли я сам, что это — другое?

Не знаю... Завтра нужно все ей сказать — потом может быть поздно.

Утром почтальон подсунул под дверь газеты, и пока закипал чайник, я читал спортивные новости. Из соседней комнаты неслась моцартовская мелодия. Старый учитель музыки играл тихо, чтобы никого не беспокоить. С раннего утра он уже сражался со своим одиночеством. Без этой борьбы жизнь старика, пожалуй, была бы даже бессмысленна — она заменяла ему мелкие радости и горести прошлого. Он гордился силой своего врага и сознанием, что достойно доживает последние годы.

Стояло серенькое утро. Завидев меня, дворник снял шапку.

— Здравствуй, Шамиль, — приветствовал я его.

Моросил дождь. Когда же наконец наступит зима? Моя двадцать шестая зима!

Женщина за ухо тащила маленького мальчика в школу. Почему нам так не хочется ходить в учебные заведения? Почему больше всех дней недели мы любим воскресенье и еще — каникулы? Кто виноват в этом?

В киоске возле сквера знакомый одноногий продавец отсчитывал сдачу покупателю. Я купил у него «Приму», и мы разговорились. На Колхозной площади группами стояли мастеровые — и настоящие мастера, и халтурщики. В конце улицы Дзиеладзе показались милиционеры, и их как ветром сдуло — они побежали к Пушкинской улице, к мосту Бараташвили и в сторону базара. Бежали и молодые и старики. Площадь сразу опустела. Я сел в автобус.

Я пересек больничный двор, поднялся по каменной лестнице, свернул направо по коридору и открыл дверь ординаторской.

Там было пусто и холодно. Я закрыл окно и снял пальто.

Через некоторое время появилась уборщица.

— Доброе утро. Дать тебе чистый халат, доктор?

— Сделай одолжение, — сказал я, и когда она принесла мне халат, спросил: — Лиза, ты не знаешь, где можно достать много денег?

— Ты что, в карты проиграл?

— Я не играю в карты.

— Значит, покупаешь машину?

— Какая машина, Лиза!

Я закурил и сел к столу. Уборщица взяла с соседнего стола пепельницу, поставила передо мной и пошла к двери. На середине комнаты она остановилась, посмотрела на меня через плечо, но, ничего не сказав, пошла дальше.

— В чем дело? — спросил я.

— Когда ты отдашь мне рубль?

— Очень скоро, Лизико!

— Это уже за третий халат, доктор.

— Дойдем до трех рублей, тогда и рассчитаемся сразу.

Врачи начинали сходиться после утренней пятиминутки.

Микеладзе хлопнул меня по плечу.

— Ты где пропадаешь? — спросил он и тут же повернулся к вошедшему заведующим: — Вас искал главврач.

— Говорят, твоя Булбулашвили отправилась к праотцам? — спросил меня заведующим.

— Умерла?.. Когда?

— На рассвете.

Я выдвинул ящик стола, нашел историю болезни Булбулашвили, перелистал пожелтевшие, потрепанные листки. Одинокая семидесятичетырехлетняя женщина пуще смерти боялась вернуться в свою жалкую комнатушку, но хроническое воспаление легких, как верный пес, не покидало ее и спасало от этого кошмара. Эта болезнь, подумал я, и была ее единственным прибежищем. Никто никогда не защищал ее, никто не учил ее защищаться. Непостижимо, как она прожила такую долгую жизнь один на один с этим недобрым миром, полным лицемерия и предательства. Неужто и впрямь болезнь была ей щитом?

Окончен еще один маленький спектакль. Мы разыгрывали его друг для друга, и зрителей у нас не было.

— Что ж, так оно и лучше, наверное, — проговорил я, расстегнул пуговицу халата, снова застегнул и с силой захлопнул ящик.

— Лежит она сейчас в морге, — услышал я голос

Микеладзе, — застывшая, скрюченная, растрепанная. Провалившийся живот, высохшие конечности... А душа? Душа отлетела, но недалеко — не в небеса к небесным всадникам. Она тут же, рядом, в затхлом подвале, перемешанная с запахом формалина... Сильные мира сего и там — он ткнул пальцем вверх — владеют всеми благами. Пусть никто не заблуждается на этот счет.

— Лиза!!! — заорал я во все горло.

На второй зов уборщица явилась.

— Что это такое, Лиза?! Почему на выстиранном халате пятно?

И опять Микеладзе:

— Диоскарид, пятно греха!

Лиза подошла поближе, сощурила глаза.

— Ведь это маленькая точка, доктор.

— Совесть — хорошее дело!

— Да ее и не заметно. Но я могу перестирать, если хотите.

— Оставь меня в покое!.. Впрочем, постой, ты-то в чем виновата? Ну ладно... Иди, Лизико.

Господи, с кем поделиться, кому рассказать о том, что мучает меня, о чем я думал вчера и позавчера? Где моя Будуна? Почему я улыбался и кивал сотрудникам «Варсквлави» и «Шукуры»? Почему было такое жалкое лицо у этой несчастной старухи Булбулашвили? Куда она ушла и ради чего явилась на свет? С кем поделиться?.. Ведь если твой собеседник понимает хотя бы тысячную долю из сказанного тобой — и то уже хорошо. А вот если их тысяча... Но эта идея снова возвращала меня к «Варсквлави» и «Шукуре», и я махнул рукой...

В полчетвертого я вышел из больницы, и мелкий, похожий на водяную пыль дождь противно коснулся моего лица. С кем же все-таки мне поговорить?.. Мери будет смеяться. Павле — школьный товарищ?.. Куда там! Кроме выпивки и джаза для него ничего не существует... Может быть, поискать кандидата среди соседей? Тоже нет... О, если бы Тбилиси был на берегу моря!..

Однако в конце концов я все-таки нашел — мой выбор пал на сына двоюродной сестры моей мачехи, сына Тамар. Сей молодой человек, которому в январе

исполнится четырнадцать, за рубль был готов продать душу дьяволу. Однако при этом Валико обладал одним редким качеством — он не был болтлив и умел хранить чужие секреты, как подобает мужчине.

Я вызвал его на улицу и изложил суть дела.

— Значит, так, — сказал он и почесал в затылке, — на какое время ты меня нанимаешь?

— Ну... около часа тебе придется меня выслушивать.

— Тогда рубля мало, — сказал он.

— Сколько же?

— Три... Терпеть не могу, когда меня стригут, как овцу. Содрать шкуру с другого — это мне больше по душе.

Мы поторговались и сошлись на двух рублях.

— А еще я угощу тебя кофе, — сказал я.

— Это уже твое дело, — сказал он мне и добавил:

— А может, лучше пиво?

— А вдруг ты опьянеешь? Ты ведь несовершеннолетний.

Он засмеялся и похлопал меня по плечу.

И мы оказались в «Мерани». В кафе было полутемно и почти совсем пусто.

— Официант! — закричал Валико, едва мы сели за один из столиков.

Пива тут не подавали, и я заказал официантке два кофе и пирожные.

— Какое у вас знакомое лицо, — сказал я ей.

Она ничего не ответила и ушла.

Валико захихикал:

— Хи-хи! Кто теперь так знакомится?

— Да нет же, Валико, — сказал я молодому человеку, — у нее действительно очень знакомое лицо. Лет семь-восемь тому назад на автобусной остановке я заговорил с девушкой. Девушка была крупная, яркая. Она улыбнулась мне. Автобусы подъезжали, уезжали, а мы все стояли и смотрели друг на друга. Все шло нормально, как вдруг я влюбился в эту девушку. И знаешь когда? Когда заметил на плече ее белой кофточки аккуратную штопку. Какой близкой и дорогой она сразу мне стала. «У тебя есть любимый?» — спросил я ее шепотом, а она ответила: — «О, нет!» Я чуть не сошел с ума от счастья, и если бы не моя за-

стенчивость, тут же нашептал бы ей кучу глупостей. Но потом и у нее оказался маленький недостаток... На третий день нашего знакомства она сообщила мне, что беременна и через месяцев шесть должна родить...

— А не перейти ли нам к делу? — спросил меня сын двоюродной сестры моей мачехи.

Я допил кофе и начал:

— «Я сидел на балконе. Я смотрел на засыпанную опавшими желтыми листьями улицу. Деревья словно задыхались»...

— Извини, — перебил меня Валико, — что это ты мне рассказываешь? Сказку?

— Правду, Валико!

— Еще раз извини, — сказал он и весь обратился в слух.

— Значит, так... «Деревья словно задыхались. Чьи-то огромные, черные и душные крылья накрыли пространство. Ветер подхватил с тротуара лист, закружил его и умчал куда-то. Худая — кожа да кости — кошка лежала у моих ног и теребила шнурок ботинка. Кошку звали Будуна, и кроме меня, никого на свете у нее не было. Передо мной были все те же привычные предметы, та же улица, те же деревья и та же осень. Однако в эту минуту все мне казалось изменившимся».

Когда я кончил, он заявил, что он в восторге от услышанного.

— Правда? Тебе нравится?

— Клянусь мамой!

— А это место, где я разговариваю с французами, — не правда ли, здорово! А изгнание Будуны?..

— Ты — просто Булгаков!.. — озадачил он меня своей эрудицией. — Альберт, если я тебе еще понадобится, не стесняйся. Я всегда рад... — сказал он мне уходя и протянул руку.

— Спасибо, дружок.

— До свидания, Булгаков, — крикнул он уже издали и исчез.

Перевод Киры ВОЛЬФЕНЗОН

Бидзина МИНДАДЗЕ

ПЕСНЯ СОЧУВСТВИЯ
 ПОЭМА

I

Плебейскому «ага»
 и княжескому «да-с»,
 холопскому кивку
 послушной головою
 и совести во сне,
 когда безвольный глас
 вслед ветру шелестит
 согласною листвою —
 поставлю супротив
 крутое слово «нет».
 Пускай оно стоит,
 как дуб с плющом,
 сурово.

Смиренье, знаю, нас,
 как щит, спасет от бед—
 но вознесись, душа,
 до рокового слова!
 «Нет!» — прохрипел Або,
 и Цотне крикнул—«Нет!»
 И ужаснулся люд
 в безмолвном замиранье.
 Но—«Нет!» — в руках
 клинок,
 семь бед — один ответ,
 копытом землю бьет

не конь—а сам Мерани!
 Богатства всей земли
 купить бы не смогли
 короткого, как вскрик,
 родного слова «ара».
 Пускай намажут мед,
 чтоб спину осы жгли,—
 нет, я не отрекюсь,
 как ни жестока кара.
 Привяжет пусть меня
 враг ко хвосту коня,
 а после, что есть сил,
 хлестнет по крупу

плетью —

но слов смиренья он
 не вырвет у меня:
 высокий выдох «нет!»
 раздастся перед смертью.
 И все ж я жизнь люблю,
 как песню соловей
 и как цветок пчела,
 мед собирая в соты.
 Касается трава
 босых моих ступней,
 и персик-первоцвет
 дарит свои красоты.

II

Может, поэтому верю: смогу
 слово сказать свое твердое «ара!»
 так же, как это сказали врагу
 Пабло Неруда, Аьенде и Хара.

Глаз я не спрячу — как жизнь ни карай,
и убежденья, как листья, не скину.
В тот, как бóрзая, простершийся край
подло кинжалом ударили в спину.

К небу высокому взгляд устремив,
я не скулю, крест тяжелый взваливши...
Чили, ты так далека — словно миф.
Служба и дом, вы значительно ближе.

Думает: нету на свете теней —
тот, в чьем окне моет солнышко волосы.
Зубы оскалены, как у зверей,
в каждой улыбке самодовольности.

Любит такой сам себя в зеркалах,
мир его полон недвижимой собственности.
Весь он в достоинствах, весь он — в делах,
нет одного только — совести!

Пáруса шелест не слышен ему,
словно тот берег второй океана,
где слово «нет!» бьет волною о тьму —
в нем не болит та далекая рана,

Где не отводят пылающий взор,
где палачи вновь костры разжигают,
где возводили великий собор,
видно, по совести, — раз убивают.

Дни сокращает тиранам их гнев.
Было и есть и пребудет вовеки
то прозвучавшее гордое «нет!»,
что никогда не умрет в человеке!

III

Город тревогой и злобой кипел.
Солнце само задыхалось от жара.
По тротуару шел парень и пел,
тихо ему подпевала гитара.

Длинные пальцы скользили вдоль струн.
Голос от боли чуть-чуть был надтреснут.
На каблучках позолоченных струй
дождь танцевал под веселую песню.

Длинные волосы струн теребя,
тонкие пальцы вершили свой танец.
Пой, Хара, пой для меня и себя,
для того дня, когда нас уж не станет

Пой, Хара, песню — нас время не ждет,
время всех нас победит в марафоне...
Черная злоба созрела, как плод,
распространяя на город зловонье.

Даже когда погружусь я во тьму,
раненный пулею в сердце смертельно,
кто убедит меня, что ни к чему
певчая птица на телеантенне?

Песня — добычей на пулях висит —
знает винтовка свинцовые песни...
Скрипки высокая нота сквозит
на самолетных следах в поднебесье.

У палача обе руки в крови —
не уставая пытал и пытал бы!
Жизнь, обреченность попробуй прорви —
бьется волна о гранитную дамбу!

Люди не плачут, мотив подхватив, —
тянутся к горлу ручищи фашиста.
Пой, Хара, песню, покуда ты жив —
пой для того, смерти кто не страшится.

Песня твоя — всех чилийцев судьба.
Бьется о черствую дамбу сердечность.
Пой, Хара, пой — для меня и себя,
ибо с тобой никогда я не встречусь.

Но через тысячу лет сквозь туман
песни прорвутся, не выдержит дамба:

словно искрящийся пестрый фонтан,
вдоль по бульварам пройдет твоя самба...

Чили однажды воспрянет от сна,
вновь озарит твою родину солнце...
Разве такая бывает весна—
кровь человечья потоками льется.

Ливни кровавые — как из ведра.
Злоба пришла из самой преисподней...
Больше люблю, чем любил я вчера.
Цену добра знаю лучше сегодня.

Дух обновления поднял страну,
но, перерезав, как жилы, дороги
и оборвав золотую струну,
танки вошли, тяжелы и жестоки.

Город, который ты строил с мечтой, —
как Карфаген, перепахан Сант-Яго.
Волей чужой и чужою рукой
правит в Сант-Яго продавшийся Яго.

О стадионы, вы как острова,
где человеческих страстей погребенья,
скошена где не простая трава —
славы земной и земного забвенья.

О стадионы, где радость и злость —
сам я платил вам налоги моментов —
месторожденья восторга и слез,
банки позора и аплодисментов.

...Мечется мяч. И у каждого ворот
сетка, как сеть, а быть может, насадка —
высидит гол, как яйцо, и вернет
мигу над вечностью власть, и нередко

воля не сдержит взметнувшихся рук
в пьяном восторге, в безумном ли горе.
Если Пеле промахнулся, то вдруг
мяч застревает у каждого в горле.

О стадионы — у вас имена
музыке светлой подобны с рожденья.
Можьтесь, чтоб счастье испили до дна
все, кто приник к роднику наслажденья.

О стадионы, вы как острова —
звездная сказка, зеленая сага.
Но не растет почему-то трава
на стадионе в прекрасном Сант-Яго.

Нет, не растет. Где стоят палачи,
слышатся выстрелы из автоматов.
Вместо того чтоб звенели мячи,
слышится звук пулеметных раскатов.

В море бутылка — ну чем не конверт?
Выну дрожащей рукою посланье.
Не было мне и пятнадцати лет,
но паруса развернул я заране...

Но остается со мной моя стынь.
Но, как и прежде, мечта остается —
милая, словно единственный сын,
жаркая, словно висок иноходца.

Как бы любовь мою шторм ни карал —
все ж без руля и ветрил не оставит.
Медленно тонет в пучине корабль,
но капитан корабля не оставит.

Буря, орлиные крылья расправь,
солнце когтями хватай, как косулю.
Медленно тонет в пучине корабль
и затаилась последняя пуля.

Балом девятым из пушек паля,
палубу заполонили агенты,
и капитан моего корабля
гибнет, похожий во всем на Альенде.

Вот он со смертью один на одич,
смотрит в глаза ей — не дрогнуло веко.

Смерти не сдался и тем победил
мой капитан и мой гордый коллега!

Им я горжусь — настоящий он врач.
Жизнь, ты мечты разбиваешь сурово.
Слово одно лишь услышал палач —
«Нет!» — это было бессмертное слово.

Мать и жена слез не кажут — беда!
Плачет палач от восторженной дури...
Помните, высохли слезы, когда
Убили Илью у села Цицамури...

В Светицховели десница — ты чья?
Скольким героям наград не вручили...
К небу вздымается гнев, клокоча —
С Пабло Нерудой прощается Чили.

Глушит стенания пушечный гром.
Солнце, туманом объятое, тает.
Джордано Бруно стоит пред костром,
колокол бьет — и поэт погибает!

Чувствует сердцем героя герой:
Пабло с Альенде и Харою встанет
в тот легендарный незаблемый строй,
где и грузины — Або с Дадиани.

Подвиг твой, Хара, века не сотрут.
Вечно живут и слова и гитара —
гордо, как знамя на вольном ветру,
великолепно, как «нет!» или «ара!»

Грузия, может, мала среди стран,
но я люблю дым родимого крова...
Шхуна одна и один капитан —
пусть не расходятся совесть и слово.

...Край сентября, виноградной лозы,
край то далекий, то близкий до боли...
Чувствуют губы соленость слезы,
боль моя — градом побитое поле.

...Этот далекий, но близкий мне край,
край, распростершийся у океана...
Ветром своим мою грудь распирай,
болью своей сердце жги постоянно.

...Этот далекий, но близкий мне край...
Милая мне Карталиния, вспомним:
сколько ветров пронеслось, посчитай —
все-таки дух оказался не сломлен!

Снова поверю в весенний я дождь,
в знойное летнее солнце поверю.
Снова, безоблачный день, ты придешь
и возвратишь нам любую потерю.

День, как письмо, появишься и утешь.
Душу залечивай, певчая пташка.
Вроде, какой же там груз у надежд —
в сердце носить их, однако же, тяжело.

Этот далекий, но близкий мне край,
пусть над тобою набат бьет без устали.
Этим стихом говорю: «Отворяй
сердце свое!» — это песня сочувствия.

В песне сочувствия — боль и привет.
Льется сочувствия песня во славу
краткого слова, но твердого — «нет!»,
острого, вроде кинжала у свана.

Горькие слезы с лица не утру.
Гибнет герой, чтобы жить легендарно, —
гордый, как знамя на вольном ветру,
великолепный, как «нет!» или «ара!»

Перевод Владимира ДАГУРОВА

Элизбар УБИЛАВА

ХРАНИТЕЛЬ *Документальная* СОКРОВИЩ *повесть*

После этого Бриан завел разговор с министром иностранных дел и министром финансов по поводу того, какие средства могли быть выделены для обеспечения грузинских эмигрантов жильем и пропитанием. Оба министра пообещали в ближайшие дни сообщить премьеру свои соображения по этому поводу.

Чхенкели выразил желание купить для грузинских эмигрантов удаленную от Парижа всего на двадцать километров летнюю резиденцию — поместье Левиль.

— Я не имею ничего против, — ответил Бриан, — осмотрите это поместье вместе с нашими представителями, договоритесь и, если вас это устраивает, принимайте решение.

Бриан поручил Шевалье и министру финансов в ближайшее время сообщить ему свои соображения и по этому вопросу.

Мужала, строилась и расправляла плечи новая Грузия. Можно было предположить, что грузинские меньшевики хоть сейчас посмотрят правде в глаза, сложат оружие, смирятся с судьбой и поддержат Советскую власть. Но оставшиеся в Грузии меньшевики все еще не теряли надежды на возвращение бежавшего за границу бывшего правительства и в ожидании этого продолжали борьбу против большевиков. Со своей стороны и бывшее правительство Жордания не оставалось в долгу. Все внимание меньшевиков-эмигрантов было направлено на Грузию, и они издали помогали единомышленникам в проведении антисоветской кампании, посылая к тому же одно за другим письма с инструкциями. Вот содержание одного из таких писем, высланных из Парижа:

Окончание. Начало см. в №№ 5 и 6.

«...Убедительно просим сообщить нам: передали ли вам наши распоряжения и дали ли вам знать о тех средствах, пользуясь которыми можно спокойно писать обо всем... Ваши сведения, дошедшие до нас, очень общи и однобоки. Вы должны понимать, что для нас имеет значение абсолютно все, даже незначительный на первый взгляд факт. Мы должны иметь не резюме по поводу того, что у вас творится, а подробное описание всех событий, картину всей жизни... Еще раз повторяем, что важно и необходимо как можно быстрее наладить контакт между всеми антибольшевистскими партиями и группировками. Ничто не должно утаиваться... Положение нашей страны вызывает за границей все больший интерес... Второй заслуживающий внимания факт состоит в том, что на днях в Париже закончилось совещание между горцами, азербайджанцами, армянами и грузинами... Бриан принял всех представителей и пообещал помочь».

Поскольку Ревком распространил объявленную в своем первом декрете амнистию и на антисоветски настроенные «социалистические» партии и не осуществлял по отношению к ним репрессий, некоторые из них, и в частности меньшевики, не на шутку осмелели. Дело дошло до того, что они потребовали свободу собраний и даже пожелали иметь свой орган печати. Оставшиеся в Грузии лидеры меньшевиков Иосиф Рамишвили, Григол Дордкианидзе и Ноэ Хомерики во всеуслышание заявили, что они не признают Советскую власть и примкнули к ней лишь временно, до той поры, пока они не наберут силы и не смогут выступить открыто. В таком положении Центральному Комитету Компартии Грузии пришлось провести несколько мероприятий, чтоб парализовать враждебные действия меньшевиков.

Возможно, меньшевики и не проявили бы такой смелости, если бы не надежды на поддержку эмигрировавшего правительства Жордания. А тот шел на любой риск и даже пускал в ход недозволенные приемы, лишь бы вернуть себе утерянную власть. Это он настроил Мартова и Церетели против РСФСР в связи с установлением Советской власти в Грузии. Он же выступил с антисоветскими речами в Париже на заседании центрального комитета французской социалистической партии и на митинге бельгийской социалистической партии в Брюсселе. С тем же репертуаром направил он в Германию Карло Чхендзе и Ноэ Рамишвили, а в Италию — Евгения Гегечкори. Лидеры II Интернационала Вандервельде и Макдональд были подкуплены Жордания и накаляли атмосферу демагогическими выступлениями против Советской Грузии.

Когда же из этого переполоха и сумятицы ничего не вышло и кампания провалилась, Жордания использовал еще один ход. Весной 1922 года он сделал попытку превратить Генуэзскую конференцию в арену антибольшевистских выступлений. В депеше, адресованной конференции, он утверждал, что в Грузии попусту проливается кровь и необходимо решительное вмешательство. Для того чтобы сделать это утверждение более убедительным, он послал депешу такого же содержания и на имя патриарха-католика всея Грузии Амбросия. В свою очередь комиссар иностранных дел Советской России Чичерин в отправленном Генуэзской конференции рапорте привел достоверные документы и разоблачил откровенные фальшивки Жордания и его покровителей.

Когда все попытки Жордания восстановить утраченную власть провалились, общее собрание меньшевиков объявило партию распущенной. Увы, они поздно поняли, что навсегда проиграли борьбу с большевиками.

Политически и экономически разбитый Жордания не смог извне повредить Советской Грузии, и тогда он попытался поднять против большевиков всяких отщепенцев, отбросы общества. Для осуществления этого подлого плана он принимал подачки и от Польши, и от других сочувствующих в Западной Европе и вскоре начал подготовку антибольшевистского восстания в Грузии. И это в то время, когда грузинским эмигрантам становилось все труднее и труднее жить в Париже! У них не было ни удобного пристанища, ни средств на хранение сокровищницы. А ведь в случае систематического невнесения платы они навсегда могли утратить на нее права. Этот вопрос больше всего волновал Эквтиме Такаишвили. Но что он мог сделать? Где следовало искать выход?

По поручению Жордания Авалишвили и Елигулашвили вынесли из «Гардемебля» ценности, не являющиеся музейными, переплавили казенное серебро и продали его за миллион двести тысяч рублей. На эту сумму они сделали очередной взнос в казну — 2500 франков и купили поместье Левиль — будущую их резиденцию.

До переезда в Левиль Эквтиме Такаишвили с женой, как и все остальные, жили в гостиницах. Их чуть ли не каждый день навещал родной брат Нины Полторацкой — студент парижского университета Илья Полторацкий. Эти встречи в какой-то мере облегчали существование, но ностальгия брала свое и чуть не выбила из колеи пожилого ученого. Такаишвили прогуливался по красивым парижским улицам, посещал национальную библиотеку, богатейшие музеи, читал эмигрантам лекции по истории Грузии,

заглядывал в антикварные лавки в поисках попавших туда случайно предметов, вывезенных из Грузии, бродил по набережной Сены, подолгу глядел на знаменитую Эйфелеву башню, но ничто не могло оторвать его от мыслей о родной Грузии. Он жил в Париже, думая только о Тбилиси, поддерживая себя воспоминаниями о грузинских монастырях и церквушках, надписях на их стенах, незабываемых археологических экспедициях. Он тосковал по родной земле, по народу, друзьям.

В самом начале 1922 года Эквтиме Такаишвили был избран членом Общества парижских нумизматов, а затем и Азиатского общества. Такое признание его заслуг в какой-то мере послужило толчком к пробуждению в нем интереса к научной деятельности. В Левиле, куда он вскоре перебрался, он жил на втором этаже предоставленного эмигрантам двухэтажного белого дома, находившегося в самом углу большого, окруженного колючей проволокой сада.

Супруга Такаишвили, Нина Полторацкая, прекрасно владевшая французским языком, всесторонне образованная женщина, всячески помогала мужу и старалась создать ему условия для работы. Следила она и за домом. В заполненной книгами и картинами двухкомнатной квартире часто можно было застать за тихой беседой безмерно любивших друг друга супругов.

В одной из комнат стояли письменный стол, деревянные кровати, мягкие кресла и гардероб. В углу на небольшом столике — кувшин и посуда. У изголовья — ящик с аккуратно уложенными книгами, церковными вещами и завернутой в бумагу горстью грузинской земли. Вторая комната целиком была занята книгами. Там стояли старый стол и деревянная тахта. Стены были увешаны живописными полотнами в позолоченных рамах. Пятьдесят одна картина, вывезенная из Боржомского дворца, сейчас хранилась у Такаишвили.

В Левиле Такаишвили почувствовал себя гораздо свободней, нежели в Париже. В большом дворе, где всем проживающим здесь грузинам выделили небольшие участки, супруги разбили прекрасный сад и виноградник. Не приходилось ходить на рынок за зеленью.

Все парижские грузины собирались в Левиле. Здесь устраивались коллективные чтения. Появилось в Левиле и грузинское кладбище, начала работать грузинская церковь, первым служителем которой был Григол Перадзе.

По субботам и воскресеньям на службу собиралось много грузин. Но душой и сердцем Левиле был Эквтиме Такаишвили. Он не

давал себе отдыха, пребывал в постоянной деятельности — читал лекции, проводил беседы, доставлял оторванным от родины соотечественникам книги и газеты, которые присылали ему из Тбилиси бывший его ученик Иродион Сонгулашвили, а из Ленинграда — Нико Марр, Иосиф Мегрелидзе и многие другие. Благодаря им узнавал Такаишвили, что в Советской Грузии успешно развивались все отрасли народного хозяйства, открывались новые школы и культурно-просветительские учреждения, начиналась новая жизнь.

Бывшие члены меньшевистского правительства, которые с нескрываемым любопытством следили за происходившим в Грузии, постепенно убеждались в том, что они навсегда потеряли родину. Тбилисские газеты ругали меньшевиков, вывезших в Париж народную сокровищницу. Старого ученого мучила совесть из-за поднятой вокруг него и его коллег шумихи, но он не терял уверенности в том, что рано или поздно вместе с сокровищницей предстанет перед своим народом.

В Парижской национальной библиотеке Такаишвили обнаружил не одну древнегрузинскую рукопись, расшифровал их, описал и показал заинтересованным лицам. Позднее в Париже вышли новые труды Эквтиме Такаишвили: «Грузинские рукописи в Парижской национальной библиотеке и 20 знаков грузинской тайнописи», а также «Грузинские древности у европейских антикваров».

Такаишвили не поддерживал близких связей с бывшими главарями меньшевистского правительства, но все же им то и дело приходилось сталкиваться. И каждая встреча начиналась с разговора о Грузии и о сокровищнице. Во время одного из визитов Такаишвили к Ноэ Жордания у него в гостях оказались Ноэ Рамишвили, Акакий Чхенкели и какой-то военный. Жордания казался уставшим и надломленным. Да и двое остальных выглядели не лучше. Видимо, шла беседа о перспективах свергнутого правительства, ну а с приходом Такаишвили она невольно коснулась сокровищницы.

— Хранить сокровищницу становится все труднее, ведь мы выплачиваем 2500 франков в год. Сколько времени мы сможем платить такую невероятную сумму? Где достать такой капитал? — беспокоился Такаишвили.

— А как вы думаете, долго нам еще придется ждать в Париже возвращения к власти? — вопросом на вопрос ответил Рамишвили и бросил испытующий взгляд на профессора. Жордания тоже с нетерпением ждал, как выскажется по этому поводу ученый с прочной репутацией правдолюбца.

— Лучше скажите, сможем ли мы хоть когда-нибудь вернуться на родину? — ответил Такаишвили.

— Очень, очень скоро грузинский народ пришлет нам послов для передачи власти, — сделал попытку пошутить Чхенкели.

— Пустые мечты! Грузинский народ нас никогда не простит. Ограбили монастыри и церкви, забрали все, чем можно было гордиться, потом бросили на произвол судьбы и бежали!..

— Ну, Эквтиме, с каких это пэр ты стал большевиком? — Жордания поднялся с места и похлопал его по плечу. — Об этом и днем и ночью кричит большевистское радио: мол, меньшевики бессовестно похитили и вывезли в Европу богатства Грузии. Уж кто-кто, а ты-то должен знать, что мы увезли все это не для продажи, а чтобы спасти.

— Да, я согласен — чтобы спасти. Но как нам хранить сокровищницу, на какие средства? А после нескольких лет неуплаты мы теряем юридическое право на владение, — стоял на своем Такаишвили.

— Лишь бы у нас все было хорошо, а средства найдутся. На какое-то время нам хватит суммы, полученной от реализации серебра и казенных вещей, а там что-нибудь подыщется, — успокаивал профессора Жордания.

В это время Жордания доложили, что его хочет видеть директор Нью-Йоркского музея искусств. Жордания без лишних церемоний принял его.

— Директор Метрополитен-музея Герберт Джонсон, — представился гость — высокий, худощавый мужчина средних лет — и низко склонил голову. Жордания так же вежливо поздоровался и указал на кресло.

— Я рад видеть вас у себя в гостях, хотя визит ваш несколько неожидан. Чем могу быть полезен? — задал вопрос Жордания.

— Я гораздо раньше хотел встретиться с вами, но помешала задержка в пути. Мне интересно, как вы живете, не испытываете ли нужды, оказавшись за пределами родины?

— Мы прихватили с собой небольшой капитал. Кроме того, у нас есть друзья, сочувствующие, но, конечно, всего этого не так уж и много, — промолвил Жордания.

— Мы можем облегчить ваше положение, если вы согласитесь продать нам коллекцию эмалей, — заявил гость.

— Разговоры о продаже совершенно излишни, — вскричал Такаишвили. Все невольно оглянулись на профессора: руки его дрожали, лицо побледнело. — Видите ли, это старая история, но вы должны помнить проделки некоего Сабин-Гуса. Так вот, добившись разрешения экзарха обновить старые украшения на церковных

иконах, он уничтожил множество старинных икон, а медальоны, эмали продал одному из приближенных Александра III, коллекционеру Звенигородскому. А этот самый Звенигородский получил 200 тысяч долларов от нашего сегодняшнего гостя — директора Метрополитен-музея. Видимо, директору пришлись по вкусу наши эмали, и он стремится пополнить свою коллекцию новыми экспонатами. Но знайте, пока я жив, никто не посмеет прикоснуться к сокровищнице! Это не просто сокровища, это наш паспорт, наша совесть и надежда. Не так-то уж просто присвоить славу чужих предков!

Жордания какое-то время внимательно следил за Такаишвили, а потом примирительно сказал:

— Возможно, ты во многом прав. Если нам не придется слишком туго, мы, конечно же, не станем продавать музейные и церковные ценности. Но не следует забывать и о тактичном обращении с иностранцем!

— Мне кажется, и иностранцу стоит немного подумать о такте, — парировал Такаишвили.

Американец собрался было ответить, но Жордания перевел разговор в другое русло.

Долго беседовал директор музея с Жордания и другими членами бывшего правительства, но поскольку не достиг желаемого результата, предложил такой вариант:

— Если вы дадите слово, что в случае продажи не уступите эмали никому другому, то я могу хоть сейчас одолжить вам довольно крупную сумму.

Члены правительства переглянулись. Видимо, им понравилось это предложение, и они уже готовы были согласиться, но всех опередил Такаишвили:

— Какое мы должны давать обещание?! Каждый мало-мальски честный человек обязан сохранить нетронутым то, что ему доверено! А вы!.. — Эквиlime Такаишвили повернулся к Жордания. — В долг брать легко, а возвращать трудно. Тот, кто предлагает вам подобные условия, прекрасно знает, что деньгами вы расплатиться никогда не сможете...

Протест Такаишвили разрушил планы американца. Сделка, разумеется, не состоялась.

Впоследствии переговоры начал вести и Британский музей, который просил продать ему один из лучших экспонатов Ксанского клада, приобретенного в свое время Такаишвили специально для музея. Взамен англичане предлагали хранение всей сокровищницы и издание посвященного ей альбома.

Для переговоров из Лондона в Париж был направлен известный английский историк и картвелолог Аллен. В качестве посредника он послал к Такаишвили одного из эмигрантов. Профессор, разумеется, ответил отказом: экспонаты — собственность частных музеев и продаже не подлежат.

Таким образом, попытка иностранцев завладеть музейной сокровищницей вновь провалилась.

В Левиле и Париже ходили слухи, будто в ближайшее время грузинские эмигранты смогут вернуться на родину. Такаишвили часто приходилось слышать подобные разговоры, но он никогда не придавал значения беспочвенным фантазиям и пустой болтовне. Из Тбилиси ему прислали грузинские газеты, в которых говорилось об успехах трудящихся Грузии. На фоне такой информации любые сплетни и провокации теряли какой бы то ни было смысл. Но летом 1924 года антисоветская кампания буквально сорвалась с узды. Такаишвили было над чем призадуматься.

Как-то раз профессор направился в грузинскую церковь, чтобы побеседовать со своими соотечественниками.

— Что нового, батоно Эквтиме? — едва успев переступить порог, услышал Такаишвили вопрос священника Григола Перадзе, облаченного в черную рясу, — он готовился проводить воскресную службу.

— Я как раз за позостями и пришел, батоно Григол. Голова у меня забита сплетнями, может быть, вы мне расскажете о чем-нибудь? — спросил Такаишвили.

— Стало известно, что в Грузии начались вооруженные выступления, только никому не известно, чем они закончатся, — ответил Перадзе.

— Опять кровопролитие? Это же неблагоприятно! — вышел из себя Такаишвили.

— Почему вы так говорите, батоно Эквтиме? Если кто и хочет вернуться на родину, так это в первую очередь вы. Я думал обрадовать вас!

— А неужели найдется такой человек, который не тосковал бы по родине и не хотел бы вернуться! Но посудите сами, если люди перебьют друг друга, кому нужна будет опустошенная земля! А, собственно говоря, откуда у вас, батоно Григол, такие сведения?

— Вчера утром я был в Париже. Должен был встретиться с одним другом, недавно вернувшимся из Варшавы. Нечего скры-

вать — я рано или поздно собираюсь перебраться в Варшаву, там у меня много знакомых и друзей.

— О Грузии вам рассказал приехавший из Варшавы?

— Нет, он встретил у здания парламента Евгения Гегелкори. Тот, видимо, направлялся в министерство иностранных дел, наверняка обговаривать какие-нибудь дипломатические вопросы. Он очень торопился, но успел бросить два слова: готовься, скоро придется вернуться в Грузию — там началось восстание.

— Что-то я не верю. Какое восстание способны поднять бывшие меньшевики? — усомнился Такаишвили.

— Они ведь не одни! — ответил Перадзе. — За спиной у них и социал-федералисты, и национал-демократы, торговцы и отчасти крестьянство.

— Ну, большевики, положим, тоже не в одиночестве! Им помогут Советская Армения и Азербайджан, да и вся Россия. Как же тягаться с такой силой?

— Да, нелегкое это дело, но раз уж начали, значит на что-то надеются.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал Такаишвили и вскоре ушел из церкви.

Вернувшись домой, Такаишвили застал у себя шурина — Илью Полторацкого. Он рассказывал сестре приснившийся ему сон о Грузии. Не успел Такаишвили завести разговор о новостях, как жена передала ему пакет. Письмо было из Лондона. Музей Великобритании сообщал профессору, что скоро в Лондоне откроется выставка чеканных икон и эмалей, и спрашивал, не пожелает ли он принять участие в выставке с отобранными из своей сокровищницы экспонатами. Щеки Эквтиме запылали. Нина Полторацкая знала, что краска заливала лицо мужа только в тех случаях, когда он не на шутку был разгневан.

— Что случилось, Эквтиме? Что-нибудь плохое? — спросила она.

— Ворон, почуявший запах падали, девять суток будет кружить и не успокоится до тех пор, пока не насытится, — пробормотал старик.

— О чем это ты?

— Да о том, что воронье водится не только в Грузии, но и здесь, в Европе. «Раз грузины потеряли родину, может, и сокровищницу отдадут...» Куда только нас не приглашают на выставки: в Нью-Йорк, Лондон, Филадельфию. Но до сих пор не было случая, чтобы европейская дипломатия победила восточную мудрость! Ведь если я выставлю сокровищницу в Лондоне, то, можно ручаться, я и половины не получу обратно!

— Батоно Эквтиме, не мне вас учить, но не лучше ли посоветоваться с Жордания и вместе обсудить этот вопрос, — вмешался в разговор Илья Полторацкий.

Такаишвили в тот же день направился к Жордания.

Хозяин, одетый в домашнее, сидел, откинувшись, на диване и читал. Увидев Такаишвили, он поднялся и пригласил гостя сесть.

— Видно, вы читаете что-то интересное? — начал беседу профессор.

— Да, это сборник выступлений Жореса, недавно вышедший в Париже. Лучшего публициста и оратора сегодняшняя Европа, на мой взгляд, не знает.

— Вы знакомы с ним лично?

— Нет, к сожалению, но я дважды слышал его выступления

— Говорили, что Клемансо еще лучший оратор.

— Но Жорес — совсем другое: его слова обладают какой-то особой магией. Что касается Клемансо, конечно же, об его ораторском даре двух мнений быть не может — это безусловно великая личность. Мне выпал случай в Париже слышать на заседании парламента и Жореса, и Клемансо. Я затрудняюсь отдать кому-нибудь из них предпочтение.

— А что вы скажете о Каутском?

— Это деятель другого ранга. В нем одинаково развит талант и оратора, и политика.

— А я несколько разочаровался в нем, — возразил Такаишвили, — его выступление в Тифлисе не произвело на меня впечатления.

— Он просто постарел, батоно Эквтиме, время берет свое, — вздохнул Жордания.

— Что слышно из Грузии? — перевел разговор Такаишвили.

— Несколько дней назад я получил из Тифлиса письмо от Григола Лордкипанидзе и Джугели. Пишут, что Комитет независимости начинает вооруженные выступления. Готовятся уже четыре года — видимо, ждут подходящего момента.

— А говорят, что уже выступили?

— Кто сказал?

— Евгений Гегечкори рассказывал нашему левильскому священнику Григолу Перадзе.

— Евгений Гегечкори — в Париже. Возможно, у него были новые сведения. Сегодня он должен был встретиться с Макдональдом, а завтра у меня с ним назначен официальный визит к Эррио. Все эти наши встречи связаны с российско-грузинскими делами. Французское правительство в настоящий момент занима-

ет двойственную позицию. Пуанкаре действовал куда решительнее. А Эррио оказался довольно осторожным дипломатом, хочет быть хорошим и для нас, и для Советской России. Не знаю, что принесет нам такая политика. Нам нужна реальная поддержка. Нашим единомышленникам в Грузии не хватает денег и оружия. Они находятся в окружении советских республик и вообще запоздали с началом операции. Сомневаюсь, честно говоря, что из этого восстания что-нибудь выйдет. Наше дело было проиграно уже тогда, когда мы покинули родину и перебрались в Европу. На что и на кого мы надеялись тогда?.. — Жордания сделал паузу и затем продолжил: — Капиталист помогает только в том случае, если и от тебя что-нибудь получает. А что может от нас ждать французская буржуазия? Ничего... Мы должны быть благодарны и за то, что нам предоставили убежище. Если бы в нас видели экономическую силу, тогда, несомненно, помогли бы... Но у нас ни капитала, ни оружия, ни перспективы... Кому мы нужны? Наше дело проиграно, мы погибли, — Жордания махнул рукой.

— Мы погибнем тогда, когда потеряем сокровищницу, — возразил Такаишвили.

— А почему мы должны ее терять? — спросил Жордания.

— Во-первых, скоро мы не сможем выплачивать налог за хранение, а, во-вторых, слишком многие нас приглашают на выставки. Теперь вот получили приглашение от британского музея, — профессор протянул пакет Жордания. — Что это значит? Поправились наши богатства, или пытаются проверить, как бы полегче их присвоить?

Жордания прочитал письмо, сложил его, сунул в пакет и вернул гостю.

— По-моему, ничего тревожного в этом нет. Приглашают? Можем принять участие, можем не принять — это зависит от нас. Если вы находите, что участие в выставке может нанести ущерб нашим экспонатам, ответим вежливо, что, мол, на данном этапе мы не сможем воспользоваться приглашением...

В это время раздался телефонный звонок. Жордания взял трубку.

— С вами говорит Акакий Чхенкели, — раздался голос, — если вы не больны, батона Ноэ, прошу вас прѣхать в Париж, в наше посольство.

— Какие-нибудь новости? — поинтересовался Жордания.

— В Грузии началось то, чего мы давно ждали! — прокричал Чхенкели. — Наши взяли в свои руки несколько городов и

ведут кровопролитные бои за Тифлис. Много ответственных большевиков взято в плен.

— Когда вам стало известно об этом?

— Вчера, блатоно Ноз.

— Давайте не будем радоваться раньше времени, — проговорил Жордания, — хорошенько разберемся в ситуации и будем действовать. Я скоро приеду...

Радость грузинских эмигрантов, действительно, оказалась преждевременной. Меншевистская авантюра в августе 1924 года провалилась в самом начале.

Эквтиме Такаишвили возвращался с заседания парижского археологического общества, где он только что прочитал лекцию об экспедициях в Кола-Олтиси и Чангали. У ворот своего дома он увидел богато разукрашенный экипаж. Две белые лошади, лениво пофыркивая, перебирали копытами. На козлах восседал пожилой извозчик в сером сюртуке.

— Добро пожаловать! — по-французски приветствовал Такаишвили гостя.

— Мир вашему дому, мсье, — по-французски же ответил извозчик, — не вы ли хозяин этого дома?

— Да, я...

— Мсье Такаишвили?

— Да-да, Такаишвили.

— У вас гости, мсье.

— Откуда?

— Из Парижа. Вдова князя Оболенского Саломе Даднани...

Такаишвили, прихрамывая, поднялся по лестнице, прошел по узкому коридору и остановился у двери... Что-то он припомнил о Саломе Даднани. Да и фамилия Оболенского была ему знакома. От кого-то из грузин он слышал историю этой аристократической семьи.

Такаишвили открыл дверь и приветствовал гостей. Супруга была в необычайно хорошем настроении. Она поочередно представила мужу каждую из сидевших дам.

— Госпожа Саломе Оболенская, дочь Нико Мингрельского, внука Екатерины Чавчавадзе. А эта госпожа, — Нино указала на пожилую женщину, — близкая родственница госпожи Оболенской — госпожа Жозефина Мюрат, принадлежит к роду Наполеона Бонапарта.

Такаишвили почтительно склонил голову и поцеловал дамам руки. На минуту он вышел в спальню и, вернувшись, сел напро-

тив Оболенской. Одета в черное смуглая женщина старше средних лет невольно напомнила ему Грузию.

— Какие вести с родины? Вам случайно не удалось за последнее время побывать в Грузии? — спросил Такаишвили.

— Я давно уже, батано Эквтиме, не была в Грузии, — ответила Оболенская, — да и не собираюсь уже туда ехать. Там у меня никого не осталось из родственников и близких. Отец мой скончался, так и не вернув себе княжества. Российский император обещал возвращение титула на родине либо княжество в Болгарии, но в конце концов не дал ничего. Мать моя — дочь петербургского князя Адлерберга, тоже скончалась. Был единственный брат, но и его уже нет в живых. Так что, хоть я и скучаю по родной земле, но поскольку из близких никого не осталось, меня, по правде говоря, уже не особенно тянет туда.

— Ваш отец, я слышал, был широко образованным человеком. Я не имел счастья быть лично с ним знакомым, но много лестного слышал о нем от Ильи Чавчавадзе.

— Отец получил образование в Петербурге, а затем в Париже. Да, батони Илья Григорьевич должен был быть им доволен. В свое время он пожертвовал богатейшую библиотеку княжеского дома обществу распространения грамотности, которым тогда руководил Илья Чавчавадзе.

— Я помню, с каким восторгом рассказывал Илья, вернувшись из Мингрелии, о редчайших изданиях, древнейших списках «Витязя в тигровой шкуре», собрании зарубежной литературы. Он не забывал и молодежь Мингрелии, их гостеприимство, обычай...

— Тогда княжество процветало. Дом моих предков — Даднани был известен и в Петербурге, и в Париже, но, к сожалению, нам остались только воспоминания, — с грустью и обидой в голосе говорила вдова.

— А наша гостья госпожа Жозефина случайно не родственница зятя правителя Мингрелии Давида Даднани — Ашила Мюрата? — спросил Такаишвили.

Госпожа Жозефина Мюрат, тихо беседовавшая с хозяйкой, насторожилась и подняла на профессора чистые голубые глаза.

— Ашил Мюрат был моим родным дядей, — включилась в разговор гостья. — В нашем семейном архиве до сих пор хранятся его письма из Зугдиди и Чкадуаши. Судя по этим письмам, мой дядя очень любил Грузию, ее красивейшую провинцию Мингрелию, учтивый, талантливый и красивый ее народ. Из уважения к памяти Ашила Мюрата мы не теряем связи с наследниками Давида Даднани. Переезд госпожи Саломе и ее супруга князи

Оболенского в Париж позволил возобновить нашу дружбу. Но нас всех постигло горе — неожиданная, преждевременная смерть князя Оболенского, — глаза Жозефины Мюрат наполнились слезами.

Саломе Дадзиани скорбно склонила голову. Какое-то время все молчали.

— Если бы не это горе, я бы еще раньше навестила вас, батано Эквтиме, — продолжала прерванный разговор вдова. — Мне надо о многом договориться и лично с вами, и с бывшим правительством Грузии. Но прежде чем начать официальные переговоры, я приехала посоветоваться с вами, и, наверное, вы мне не откажете в помощи.

— Буду рад, если смогу быть вам чем-нибудь полезен, — ответил Такаишвили.

— Как мне передали, вы привезли из Грузии много драгоценностей. Вам должно быть хорошо известно, что большая часть взята из дворца моего отца — в Зугдиди. Неужели я, единственная законная наследница, — вдова повысила голос, — потерявшая родителей, брата, мужа, имения, наконец, родину, прозябающая на чужбине, не имею права хоть теперь потребовать то, что должно было гораздо раньше попасть в мои руки?!

Такаишвили внимательно, но с нескрываемым удивлением выслушал слова вдовы Оболенского и, нахмурившись, несколько резко спросил:

— О каком это наследстве вы говорите? Неужели вы до сих пор не знаете, что давно уже лишились права на имущество мингрельских правителей?!

— Лишилась?! Впервые слышу!. Никто не имеет права отнимать имущество отца у его детей! — потеряла самообладание вдова. — А если вы силой собираетесь отнять то, что принадлежит мне, я об этом хочу знать наверняка!

— Я ни у кого ничего не отнимаю, — холодно отрезал Такаишвили. — Но мне поручена охрана национальных сокровищ, и я, насколько могу, охраняю их. А что касается имущества, взятого из дома вашего отца, то это сделано по распоряжению правительства, и я тут абсолютно ни при чем. Существует декрет меньшевистского правительства от 21 декабря 1920 года, согласно которому имущество правителей Мингрелии объявляется достоянием республики.

— А интересно, какую силу имеет этот декрет, если и самого-то правительства уже не существует? — не отступалась Оболенская. — И какую гарантию даст это свергнутое правительство, что в случае, если ему будет туго, оно решит не продавать

сокровищницу? И теперь уже в Париже ходят слухи, что они переплавили и продали все серебро.

— Это было казенное имущество, — Такаишвили пытался говорить сдержанно. — Что же касается музейных экспонатов, в соответствии с международным судебным положением они неприкосновенны. Не один бизнесмен и коллекционер желал заполучить эти сокровища, но до сей поры никто из них ничего не добился. И пока я жив, никто не посмеет притронуться к ним! Это достояние грузинского народа и рано или поздно ему же и должно быть возвращено!

— Я поговорю с господином Жордания и, если он даст мне ответ, подобный вашему, — надменно произнесла Оболенская, — у меня не останется другого выхода, я вынуждена буду обратиться в суд!

— Воля ваша, конечно, я не имею права удерживать вас от этого шага. Но мой добрый совет — напрасно не теряйте времени, сомневаюсь, чтобы из этой затеи что-нибудь получилось, — произнес Такаишвили.

— Посмотрим! — многозначительно покачала головой вдова и поднялась с места. — Где же справедливость: золото и серебро моего отца упрятаны в парижские сейфы, а я, законная наследница, голодная, скитаюсь на чужбине.

— Насколько мне известно, мадам, — возразил Такаишвили, — в Париж вы приехали отнюдь не в расчете на эти сокровища. Вы по собственной воле еще до революции переселились сюда. Почему, когда вы жили в Грузии, либо перед отъездом вы не заявили о своих претензиях, а говорите об этом именно сейчас, когда и без вас у этих ценностей достаточно врагов?!

— Это мое личное дело. Пока сокровищница была в Грузии, я могла быть спокойна. Но теперь, когда она может стать источником обогащения каких-то частных лиц, я ее не уступлю!

— Если бы вы знали меня чуть лучше, то не позволили бы себе так со мной разговаривать, мадам. А не будь вы гостьей в моем доме, я смог бы ответить вам по достоинству, — закончил разговор Такаишвили и поклонился дамам.

На этом они и расстались.

На исходе 1925 года Эквтиме Такаишвили получил из Ленинграда бандероль от своего закадычного друга профессора Нико Марра. Марр прислал свою только что вышедшую книгу с автографом, а также первый том «Истории грузинского народа» Иванэ Джавахишвили и путеводители тбилисского историко-

этнографического музея. Марр сообщал, что в первых числах следующего года прочитает в Париже несколько лекций по грамматике грузинского языка, и просил известить об этом заинтересованных картвелологов.

Эта весть очень обрадовала Такаишвили, и он сразу же сообщил об этом картвелологу Георгию Шарашидзе. Тот в свою очередь разослал письма друзьям — ученым из Америки, Италии, Англии, Норвегии...

Быстро промчались дни, и наконец в фойе здания парижской школы современных восточных языков Эквтиме Такаишвили встретился со всемирно известным ученым Нико Марром. После дружеских объятий они долго расспрашивали обо всем друг друга, вспоминали проведенное в Озургети детство.

В профессорской Такаишвили представил Марру нескольких картвелологов.

— Ваши лекции будет стенографировать филолог Бриер, — сообщил Марру директор школы. — В одном из крупнейших издательств Парижа уже лежит наша заявка на издание курса ваших лекций на французском языке. Вы, надеюсь, ничего не будете иметь против?

— Разумеется, — ответил Марр, — только прошу авторскую корректуру передать профессору Такаишвили, я ему полностью доверяю.

— С удовольствием, однако и сам Бриер — внимательный редактор и прекрасный филолог.

— Охотно верю, но поскольку мы имеем дело с грузинской грамматикой, все же будет лучше показать текст Такаишвили — глаз грузинского ученого скорее заметит отдельные ляпсусы.

В течение двух лет читал Нико Марр в этой школе лекции по грузинской грамматике. Среди его постоянных слушателей был и Эквтиме Такаишвили.

Такаишвили, как и было договорено, дважды читал текст, записанный Бриером: вначале перепечатанный на машинке, а затем и в корректуре. В течение трех лет шла работа над этой книгой в соавторстве с Бриером и под руководством Такаишвили. В 30-х годах двадцатого столетия парижский читатель получил прекрасно изданный блестящий научный труд на 860 страницах — грамматику грузинского языка с хрестоматией и словарем.

После множества перемен и смещений во французском правительстве в конце 1926 года к власти вновь пришел Пуанкаре и тут же развернул антисоветскую кампанию.

В мае 1927 года, когда Англия разорвала дипломатические отношения с Советским Союзом, Пуанкаре призвал парламент

последовать ее примеру и начал готовиться к вооруженному нападению на Советскую Россию.

Многие влиятельные лица, и в том числе маршал Фош, поддержали предложение Пуанкаре. Фош опубликовал в одной из английских газет интервью, в котором указывал на необходимость нападения западных держав на Советский Союз.

Французские империалисты широко использовали в своих целях белогвардейских контрреволюционеров, эмигрировавших во Францию. Они попытались даже сформировать в Париже новое российское «правительство», составленное из «претендентов на престол», «великих князей» Николая Николаевича и Кирилла Владимировича, монархистов-черносотенцев — генералов Лукомского и Кутепова, кадетов и эсеров Милюкова и Авксентьева. Кроме них, в «правительство» вошли петлюровцы, армянские дашнаки, мусаватисты Азербайджана, грузинские меньшевики. Во Франции выходили многотиражная белогвардейская газета и журнал.

По планам Франции, во время будущего нападения на Советский Союз главную роль должны были сыграть Польша, Румыния и другие соседние буржуазные государства. Франция давала этим странам долгосрочные кредиты на расширение военной промышленности, строительство стратегически важных железнодорожных и автомобильных дорог, устройство причалов и прочих военных объектов.

Правительство Пуанкаре сделало важный шаг, направленный на милитаризацию страны. В 1927 - 28 годах военный бюджет достиг суммы в 2 миллиарда золотых франков, что уже вдвое превысило довоенный бюджет. Был принят закон, который в равной мере обязывал готовиться к войне представителей всех национальностей, проживающих во Франции.

Такая политика французского правительства вызвала оживление и в лагере грузинских эмигрантов. Вновь пробудились, казалось, затихшие реваншистские страсти. Часть руководителей бывшего правительства вновь охватило стремление вернуть утраченную власть и былое величие. Жордания, Гегечкори, Рамишвили и Чхенкели все чаще стали появляться во французском парламенте, сенате, министерстве иностранных дел. Они часто собирались у Чхенкели — в «грузинском посольстве» — беседовали, рассуждали, спорили об отдельных деталях будущих военных операций. Активизировалось белогвардейское офицерство.

К картам Грузии и Советского Союза, занимавшим стену одной из комнат «грузинского посольства», как мухи, липли размечтавшиеся фанатики. Велись нескончаемые разговоры о при-

чинах провала военных действий Деникина и Врангеля, о просчетах в задуманных операциях, ошибках стратегов. Все это делалось для того, чтобы избежать повторения прошлых неудач во время новой войны.

Такаишвили не мог не заметить такую активизацию старых друзей и знакомых, но он сознательно закрывал на это глаза и старался не вмешиваться в их дела, относясь к возне меньшевиков с недоверием и даже с иронией. Однажды в церкви Гегечкори даже сделал ему замечание:

— Нам сейчас необходимы разумный совет, научная интуиция и проницательность, а вы совсем отошли от нас. Создается впечатление, что вы вообще порвали с нами.

— Я всего-навсего инвалид, но, думаю, несмотря на пошатнувшееся здоровье, делаю не меньше, чем другие, — ответил Такаишвили. — Я читаю лекции по истории и археологии Грузии в азиатском и археологическом обществах, ищу и собираю грузинские рукописи, рассыпанные по Европе драгоценные образцы грузинского искусства, слежу за нашей сокровищницей, для чего сюда, собственно говоря, и приехал. Что же касается проницательности, ее необходимо иметь лично вам как министру иностранных дел — чтобы не проиграть. Жордания никогда уже не станет премьер-министром Грузии — это ясно так же, как и то, что прадед мой не восстанет из гроба. Интересно, на что вы надеетесь, выплясывая под дудку Пуанкаре?

— Силе надо противопоставить силу! Жордания один не в силах что-либо сделать, если нам не помогут европейские государства.

— Вы на них надеялись и во время выступлений 24-го года, но разве они помогли? — стоял на своем Такаишвили.

— Да, мы обманулись в своих надеждах. Ошибки прошлого мы теперь учтем.

— Если спросить меня, так я считаю, что никакой Пуанкаре и никакой Чемберлен ничего не смогут сделать с вооруженными силами Красной Армии!

— Вы, видно, часто читаете выступления Филиппа Махарадзе. В речи вашей слышатся его интонации, — язвительно усмехнулся Гегечкори. — Хотя я не удивляюсь, вы ведь соседи, почему бы и не поделиться идеями.

— Видите ли, у меня нет никакой необходимости подчиняться чьей бы то ни было воле — будь то Махарадзе, Жордания или кто-то другой, — спокойно ответил Такаишвили. — Слава богу, я выбрал независимый путь в жизни. Если я и поехал в Европу, то отнюдь не потому, что на кого-то надеялся или увязал-

ся за кем-то. Меня сюда привела как раз та самая внутренняя интуиция, о которой вы говорили, потребность души и служение любимому делу.

— Мы все служим одному делу — независимости Грузии, и, если для дела возникнет необходимость в сокровищнице, то мы используем и ее.

— А вот на это пусть никто не надеется! — повысил голос Такаишвили. — Сокровищница вернется нетронутой к своему настоящему хозяину — грузинскому народу!

— Ах, вы еще утверждаете, что сокровищница нам не принадлежит! — все больше распалялся Гегечкори.

— Нет, конечно. Это достояние многострадального грузинского народа, — сухо произнес Такаишвили.

— Видимо, вы вообще противник восстановления в Грузии независимости?! — не унимался Гегечкори. — А ведь независимая Грузия признана уже более чем десятью государствами Европы и Азии!

— Для меня «независимая Грузия» — это не более чем фикция... О какой независимости может идти речь, когда мы спокойно и невозмутимо наблюдали, как по нашей земле разгуливали сначала турки и немцы, а потом англичане. Ну а теперь подключили к этому делу и Францию, чтобы наша страна вновь стала ареной кровопролития!

— А сколько же нам еще прозябать на чужбине в положении нищих-попрошак, протягивающих руку за чужим куском хлеба? — сник Гегечкори.

— Вот как раз об этом и надо было думать раньше. На что мы надеялись, перебираясь сюда? Хотели натравить французов на своих же соотечественников, которых они перебили бы не без нашей помощи и таким образом преподнесли нам независимость? Как, однако, мы тогда были непроницательны в своей внешней политике, — с болью заключил Такаишвили.

Гегечкори не на шутку разозлили эти слова ученого, открыто нападавшего не только на лично его, Гегечкори, политико-дипломатические убеждения, но и на все меньшевистское правительство.

В другое время и в другой ситуации Гегечкори никому не простил бы таких слов, но что он мог ответить старому профессору, фанатично влюбленному в историческое прошлое Грузии. Да и знал он характер Эквтиме, который смело бросился бы в бой и один на один сражался бы с целой армией, когда бы речь шла о защите правого дела.

1931 год оказался необычайно тяжелым в жизни Эквтиме Такаишвили — умерла его жена и лучший друг Нина Полторацкая.

Буквально в тот же день почтальон вручил ему повестку. Городской суд департамента Сены извещал, что через две недели состоится рассмотрение дела госпожи Саломе Оболенской по поводу иска о вывезенном из зугдидского дворца имуществе ее отца Нико Дадзани (Мингрельского), и просил Эквтиме Такаишвили как ответчика явиться в назначенный день. Не дочитав этот документ, старик возмутился:

— Какое вероломство!

Все находившиеся в комнате невольно оглянулись на глубоко обеспокоенного Эквтиме Такаишвили, сидевшего, опустив голову, в кресле у своего письменного стола.

— Нашли подходящее время, когда я связан по рукам и ногам. Дома покойница, мне только и бегать сейчас по судам... Я не обвиняю вдову Оболенского, — не успокаивался Такаишвили. — Она бьется в поисках средств — жить как-то надо, но что творится с грузинами?! Говорят красивые слова о патриотизме, а то, что должно питать их национальную гордость, делают предметом спекуляции! Тьфу на таких грузин, которые из-за собственного кармана или престижа могут предать интересы народа!

— Кого вы имеете в виду? Не полковника ли? — спросил кто-то Такаишвили.

— Да, полковника Вачнадзе, выступающего адвокатом Оболенской, — срывающимся голосом ответил старик. — Будто мы его враги. Что движет полковником? Честолюбие, забота о вдове или же интересы собственного кармана?! А для того, чтобы окончательно выиграть дело, сколько раз придется ходить в суд, сколько раз будут откладывать заседания, наверняка будет подана кассация — надо располагать временем и физической энергией, — вздохнул Такаишвили.

И на панихиде, и в день похорон, и после этих печальных событий все грузинское население Левиля обсуждало поступок Оболенской.

Общество раскололось: кто обвинял госпожу Оболенскую, а кто-то и оправдывал, считал, что так и должна была поступить законная наследница, беспокоясь об отцовском имуществе.

— Беспокоилась бы вовремя, — возражали им. — Отец ее, Нико Дадзани, скончался еще до первой революции. После того совершилось три революции, а имущество все это время лежа-

ло нетронутым во дворце. В конце концов государство взяло его себе. И совершенно справедливо! — рассуждали другие.

— А если это государство перестало существовать? По какому имуществу находилось в руках законного правительства, Оболенская молчала, ну а теперь, когда меньшевистского правительства Грузии уже не существует и его упразднение подтверждено французским парламентом, почему она не должна была подавать прошения? Любой человек точно так же поступил бы на ее месте! — возражали противники.

— Именно сейчас и не следовало возбуждать дела, когда у сокровищницы нет хозяина. Ведь возможно, французский суд откажет Оболенской и, поскольку меньшевистское правительство упразднено, передаст сокровища собственной государственной казне, а Грузия таким образом может навсегда лишиться своих богатств.

В 30-е годы нашего столетия в Париже или в его предместье такие разговоры велись всюду, где встречались хоть двое грузин, будь то в доме или на улице.

У Оболенской нашлось много сочувствующих и в среде французской аристократии. Искусственно был раздут список вещей, взятых из дворца Дадвани, и получалось так, будто чуть ли не половина вывезенных из Грузии сокровищ принадлежала правителю Мингрелии. Главный мотив иска состоял в том, что меньшевистское правительство не имело права конфисковывать по декрету это имущество, поскольку правитель Мингрелии находился в непосредственном подчинении России.

Суд не принял эту мотивировку.

В 1931 году, в самом начале судебного процесса, в дело вмешался постоянный член арбитражных судов Франции мсье Пьер Жодон. В то же время он являлся временным распорядителем оставшегося без присмотра русского имущества. Жодон со своей стороны подал иск и наложил запрет на сокровищницу Грузии.

Суд отказал вдове Оболенского, но в постановлении говорилось следующее: «Поскольку меньшевистское правительство Грузии фактически не существует, сокровищницу объявить бесхозной и передать для хранения мсье Жодону».

После этого Жодон вместе с судебным исполнителем вскрыли ящики, находившиеся в парижском банке, описали все и заново упрятали в сейф, причем всю эту операцию они проделали без представителя Грузии. Лишь один раз Такаишвили, Коция

Канделаки и Акакий Чхенкели получили разрешение осмотреть сокровищницу.

Только теперь осознали грузинские эмигранты, что навсегда потеряли сокровищницу, и начали лихорадочно искать выход.

Поскольку меньшевистское правительство было распущено и потеряло право на владение сокровищницей, Такаишвили заявил его бывшим руководителям:

— С этого момента я и только я могу выступать перед французским правительством в качестве хранителя сокровищницы.

Бывшее правительство с радостью приняло такое заявление Такаишвили, полностью сняв таким образом с себя ответственность. Кроме того, члены правительства потеряли какую бы то ни было надежду на возвращение сокровищницы и поэтому с удовольствием передали Такаишвили все документы и выписки из постановления по этому поводу. Такаишвили уведомляли, что учредительное собрание и правление музеев назначили его хранителем сокровищницы, что он имеет полное право поступать как пожелает и что лично он теперь будет держать ответ как перед музеями, так и перед новым правительством.

Такаишвили направил правительству Франции заявление, в котором писал:

«Музейные сокровища, переданные судом мсье Жодону, не принадлежали ни бывшему правительству, ни мне лично, а тем более бывшему правительству России. Они представляют собой частную собственность таких учреждений, какими были в Грузии Грузинское общество распространения грамотности со своим музеем, Грузинское историко-этнографическое общество, Грузинский церковно-приходской музей и основанное по частной инициативе Художественное общество. В свое время все вышеуказанные музеи передали свое имущество на хранение правительству, и именно поэтому оно было помещено в Марсельский банк на имя правительства Грузии, которое было известно официальным кругам Франции как независимое или суверенное. Но поскольку в настоящее время это правительство распущено и не существует, сокровищница должна быть возвращена музеям».

Правительство Франции оставило без ответа это заявление Эквтиме Такаишвили. Адвокат бывшего правительства Грузии Шарль Помаре, бывший депутатом нижней палаты парламента, убеждал Эквтиме Такаишвили в том, что никто не посмеет присвоить сокровища, если будет доказано, что они принадлежат частным музеям и обществам.

Копию своего заявления Такаишвили переслал в Тбилиси профессору Вуколу Беридзе, являвшемуся в то время начальни-

ком Управления научных учреждений Наркомпроса Грузии. Такаишвили просил Вукола Беридзе передать это заявление правительству республики и в ближайшее время направить в Париж авторитетную депутацию с документами, подтверждающими принадлежность ценностей музеям. Депутация в свою очередь должна была потребовать у бывшего правительства Грузии возвращения сокровищницы.

Из Грузии в Париж был направлен дипломат Виктор Квитаишвили, человек интеллигентный, хотя и не очень разбирающийся в музейных делах. Кроме того, хлопоты по поводу сокровищницы были поручены послу Советского Союза во Франции Владимиру Потемкину. Потемкин направил к Такаишвили своего секретаря и просил ознакомить его с положением дел. Профессор приехал из Левиля в Париж и лично передал комиссии свои рапорты, отчеты и заявления на имя французского правительства и прочие материалы. Работа комиссии продолжалась около месяца, но безрезультатно. Потемкин известил Такаишвили: «К сожалению, пока ничего не выходит...»

В то время как судьба грузинской сокровищницы, как говорится, висела на волоске, а вдова Оболенского, с одной стороны, и арбитражный суд Франции, с другой, оспаривали право на владение имуществом, в Париже произошла трагедия. Некий белогвардеец Горгулов убил президента Франции Поля Думера. Как выяснилось впоследствии, этот акт был совершен с целью обострения советско-французских взаимоотношений. Правительство Тардье и реакционная пресса немедленно воспользовались этим случаем и раздули небывалую антисоветскую кампанию, направив свои удары заодно и на французскую компартию. Они объявили Горгулова коммунистом, «агентом Москвы».

Позже коммунистическая пресса сорвала маску с провокационной политики Тардье. Все то время, пока бушевали страсти вокруг истории с «горгуловщиной», Такаишвили думал только об одном: «Не дай бог, если в этом переполохе кто-нибудь из влиятельных лиц воспользуется моментом, и мы окончательно потеряем сокровищницу».

Опасения Такаишвили не были беспочвенны. Над сокровищницей действительно нависла очередная опасность. После того как меньшевистское правительство Грузии было распущено, а сокровищницу перевели в разряд бесхозных имуществ, у Такаишвили не оставалось никаких аргументов против претендентов. Более того, задолженность за хранение сокровищницы достигла колоссальной суммы, а платить было нечем и некому. Претен-

зии Оболенской и тянувшийся в течение многих лет процесс повысили интерес правящих кругов Франции к богатейшей национальной сокровищнице. Под маской притворного сочувствия они пытались прикрыть свои подлинные интересы. Заявления и рапорты Такаишвили переходили из рук одного премьера в руки другого. Ну а премьеры, к счастью, менялись одни за другим. Иногда кабинет распускался два раза в год. Плюс ко всему, начиная со второй половины тридцатых годов, над страной нависла угроза фашизма. Особенно этот процесс стал ощутим, когда к власти пришел Даладье, а в последующие годы на первый план выдвинулись такие явные подпевалы фашизма, как Лаваль, Фланден и наконец Петен.

Начались рабочие выступления и митинги под лозунгом: «Долой фашизм!» Затем последовали многочисленные забастовки, похороны погибших в стычке с фашистами, носившие характер демонстраций, потом грандиозный митинг в Булонском лесу по поводу ареста Тельмана. Демонстрации и митинги трудящихся привели к созданию Народного фронта коммунистов, социалистов и левых радикалов. Главное направление Народному фронту указывала компартия Франции с Морисом Торезом во главе. Ему же принадлежал лозунг: «Да здравствует свободная, сильная и счастливая Франция!»

В результате крупной победы Народного фронта к власти пришли социалисты, и правительство возглавил Леон Блюм.

Такаишвили и ему переслал свой рапорт, а с целью переговоров направил к нему бывшего посла меньшевистской Грузии в Турции — Сосико Мдивани. Блюм на словах пообещал Мдивани рассмотреть вопрос, но на деле даже не удосужился ответить.

Старого профессора охватило чувство безнадежности и полного одиночества. После смерти жены он страдал мучительной бессонницей, усугубляемой страхом оказаться окончательно скомпрометированным в глазах родного народа. Единственно на кого он еще надеялся, так это на уравновешенного Пьера Жодона, в руках которого находилась теперь сокровищница, и на депутата нижней палаты парламента Шарля Помаре. Все это время он не прерывал научной работы и продолжал переписываться со своими друзьями. Неутомимый исследователь, он и в мыслях, и в мечтах заботился только о родной Грузии. Его ищущая натура ярко проявилась и в письмах, посланных из Франции в Ленинград профессору Иосифу Мегрелидзе:

«...прошу как-нибудь переслать мне юбилейное издание «Вятзя в тигровой шкуре». Из Тбилиси давно нет вестей. Я получил всего лишь восемь книг «Вестника» тбилисского музея, де-

сять книг «Известий» университета и четыре — «Известий» Кавказского института. А в этих сериях вышло гораздо больше томов. Мне они очень нужны, и если Вы сможете, пришлите мне их, пожалуйста... У меня нет активного контакта с издателями, изредка наезжаю в Париж и из-за возраста чувствую себя совсем обессиленным...»

«...В архиве покойного Нико Марра должны находиться пересланные мною армянская надпись одной из церквей Панаскерта, а также надгробные надписи из церкви в Чангали. Я отправил ему в свое время эти надписи, но он так и не смог их опубликовать. Если найдете, передайте господину Орбели...»

«...Обратитесь в Тбилиси к Иродиону Сонгулашвили, и он передаст Вам некоторые необходимые мне книги. Летом Вам, должно быть, придется поехать в Грузию. Вы, молодые ученые, должны принять меры к изданию краткой «Жизни Картли», армянский текст которой уже переведен (есть у Ив. Джавахишвили). У него же есть и вторая версия «Жизни Картли», в которую вошел текст второго историка царицы Тамар и продолжение «Жизни Картли» без поправок, внесенных комиссией Вахтанга VI. Эти тексты должны быть изданы в первую очередь. Рукописи уникальны, и непростительно, что так долго они остаются неизданными...»

«...Надеюсь, что Вы получите оба экземпляра моей «Экспедиции в Кола-Олтиси и Чангали», один экземпляр — для Иродиона... У меня к Вам большая просьба. У Н. Марра есть небольшая статья, в которой он рассматривает одну приписку к Евангелию из Тао, где упоминается слово «танутер»... Я прошу Вас выписать мне название сборника, в котором статья напечатана, год издания и страницу, а также название статьи и, если можно, в двух словах ее содержание...»

«...Я получил Вашу открытку и отмеченные в ней книги: сердечное Вам спасибо. Ваша статья (относительно «пхе») меня обрадовала, к тому же я ее уже использовал. В одной фрагментарной надписи из Пархали я расшифровал слово «Шанипхе», что, следовательно, означает — дочь (женщина) Шанидзе...»

«...Супруге Марра Александре Алексеевне мой почтительный привет. Как сын Юры? Знает ли он грузинский? О Н. Марре у меня напечатаны статьи, но я не знаю, как Вам их передать. Они могут дополнить собранный Вами биографический материал...»

«...Как приятно, что книга Марра о древностях Синайской горы уже подготовлена. У достойного ученого в Вашем лице вышел достойный ученик.

Мой дорогой, я получил уже «Основные вопросы грузинской музыки» и «Мегалитическую культуру Грузии». Очень они меня обрадовали. Я живу по-обычному... но глаза беспокоят и приходится лечиться... Никаких у меня известий, как там мой брат и родственники?..»

«...Получил открытку и две книги. Вторым том работ Юрия Марра. Один экземпляр я переслал Зурабу. Несказанно Вам благодарен. Радуюсь и удивляюсь, как Вы только успеваете столько работать. Вы большую службу сослужили покойному Юрию, так хорошо издав его труды. Вклад Юрия в науку намного возрос в моих глазах, когда я ознакомился с этой книгой, и еще больше переживаю я его безвременную кончину. ...Сосо, дорогой, дайте почитать предыдущую мою открытку Иродиону, пусть узнает обо мне. Несравненный, неземной, бесценный человек, честный и бескорыстный, для меня он как сын, а сам он может пожертвовать всем ради меня...»

В эмиграции Такаишвили перенес несколько сильных душевных потрясений. Не говоря о тяжести разлуки с родиной. После кончины спутницы его жизни он получил неожиданное известие о смерти друга его детства прославленного Нико Марра и наконец — потеря сокровищницы.

Что только не предпринимал ученый, пытаюсь найти выход, но надежды никакой не было. Здоровье его пошатнулось, путь домой был отрезан, а если бы и появилась возможность вернуться, то с какой совестью он мог встретиться со своими соотечественниками?

Правда, в трудную минуту его поддерживали почитатели его ума и таланта, просто добрые люди — соседка-француженка госпожа Мирабель, шурин Илья Полторацкий, Елена Перадзе, Медея Гамбашидзе-Николадзе. Это сочувствие облегчало ему жизнь, но душевная рана не затягивалась.

Неожиданно впавшего в отчаяние Эквтиме Такаишвили навестила целая группа грузинских ученых, живших в эмиграции в разных городах Франции. Среди них был и профессор Зураб Авалишвили — друг Эквтиме и большой его почитатель. Такаишвили был очень рад этой встрече, и оба немного отвели душу в беседе.

После долгих общих разговоров Авалишвили обратился к хозяину:

— Батоно Эквтиме, сколько лет прошло с тех пор, как в газете «Иверия» была опубликована ваша работа «Три историче-

ские хроники» — «Обращение Картли», о сумбатских Багратионах и месхетская псалтырь?

— Если не ошибаюсь, это было в 1890 году. Как сейчас помню радостный взгляд Ильи Чавчавадзе, когда он прочитал эти хроники и попросил почаще передавать ему материалы историко-археологического характера. Уже прошло более полувека, — вздохнул Такаишвили.

— Насколько мне известно, педагогическую деятельность вы начали еще раньше? — спросил Авалишвили.

— Да, намного раньше. Сразу по окончании Петербургского университета я приехал в Тифлис и стал преподавать латынь. Я думал, что педагогика — моя стихия, но покойный профессор Дмитрий Бакрадзе направил мою деятельность в русло археологической науки. Да я и сам увлекся не на шутку, и это увлечение заставило меня, прихрамывая, обойти всю Грузию, — Месхет-Джаваheti, Кола-Олтиси, Лечхуми и Сванетию, составить описания всех церквей и монастырей, крепостных развалин, изучить несметное число списков, написать и опубликовать более трехсот трудов. По-моему, вполне достаточно для одного человека, но все это я сочту несущественным, если не сумею вернуть на родину бесценные исторические экспонаты.

— Я ни на минуту не теряю надежды, что они вернутся в Грузию. В конце концов Россия настолько сильна, что стоит ей предъявить Франции ультиматум, дело сразу же будет решено в нашу пользу, — сказал Авалишвили.

— Поэтому я и борюсь со смертью. Не сомкну глаз до тех пор, пока не выполню свой долг, — решительно произнес Такаишвили.

— Как мы только что подсчитали, батано Эквтиме, — перевел разговор Авалишвили, — уже более полувека отдали вы служению науке. Ученых вашего возраста и с такими заслугами обычно избирают действительными членами академий, награждают почетными званиями, премиями, орденами и медалями, а вас же судьба заставила прозябать здесь, вдали от родины, в глухой французской провинции. С моей стороны было бы неблагодарностью никак не отметить ваши заслуги. Мы, ваши друзья, пришли сегодня сюда, чтобы просить у вас разрешения провести юбилейный вечер!

Эквтиме Такаишвили, с удивлением слушавший Авалишвили, прикрыл глаза рукой и обратился к собеседнику:

— Я от стыда не знаю куда спрятаться, чтоб не попадаться людям на глаза, а вы хотите устроить юбилей?! Во-первых, я отказываюсь от каких бы ни было юбилеев, ибо я не сделал

ничего такого, чтобы отмечать это так торжественно. Во-вторых, даже если бы я и был достоин, то в условиях эмиграции о каком юбилее может идти речь?! Не понимаю! Гораздо больше я обрадуюсь, да и полезнее будет, если появится какая-нибудь возможность опубликовать мои труды.

Вскоре был избран организационный комитет, и уже недели через две собрана приличная сумма. Ни в Париже, ни в Левиле не осталось грузина, который не отозвался бы на это доброе начинание. Один только генерал-майор Амилахвари пожертвовал две тысячи франков. Посыпались ассигнования и от грузин, проживающих в Америке, Англии, Германии, Бельгии, Польше.

И свершилась заветная мечта старого ученого. В Париже большим тиражом вышел его уникальный труд «Экспедиция в Кола-Олтиси и Чангали», а также несколько брошюр.

Впавший было в отчаяние Такаишвили приободрился, собрался с силами и вновь начал хлопоты по спасению сокровищницы.

В то время, как Такаишвили с помощью Пьера Жодона и Шарля Помаре внес новый кассационный иск в парижский арбитражный суд, Францию и весь мир потрясло известие: война!

В 1940 году после завоевания Дании и Норвегии фашистская Германия напала на Францию. Премьер-министр Франции Поль Рейно, который совсем недавно занял этот пост после отставки Даладье, обратился за помощью к Англии. Германия жестоко разбомбила Дюнкерк и забрала в плен более 280 тысяч английских и французских солдат. Поражение в Дюнкерке надломило силы Англии и Франции. Франция была разделена на две зоны — оккупационную и свободную. Вскоре из-за неудач на фронте из Мадрида был отозван маршал Петен. Через некоторое время он объявил себя главой государства и перенес правительственную резиденцию в город Виши. Заместителями Петена были назначены Лаваль и Дарлан.

Сердце Франции — Париж оказался в руках оккупантов. На перешедших к Германии территориях народ оказался в ужасных условиях — голод, безденежье, безработица. Находившиеся в Париже посол и военная администрация Германии преследовали антифашистов. В Париж был направлен и представитель правительства Виши, бывший агент гитлеровцев Бринон. Во Франции был установлен реакционный режим. Были распущены все политические партии. И гитлеровцы, и вишисты вели особую борьбу с коммунистами. Союз фашистской Германии и правительства Виши укрепился после встречи Гитлера и Петена в Монтуаре в октябре 1940 года.

Коммунистическая партия Франции под руководством Мориса Тореза и Жака Дюкло призывала народ к национальному и социальному освобождению. По всей Франции развернулось движение Сопротивления. Нелегально издавалась и распространялась газета «Юманите».

Сразу после вовлечения Франции в войну Пьер Жодон, боявшийся немцев, проявил поразительную проицательность. Он перевез и упрятал грузинскую сокровищницу в подземелье версальской библиотеки и предупредил Такаишвили, чтобы тот не проронил ни слова о ее существовании.

На второй или третий день после взятия Парижа немцы обыскали квартиру Такаишвили в Левиле. Их было трое: полковник, следователь и солдат. Такаишвили велели раскрыть первый ящик, заполненный церковным имуществом. Полковник махнул рукой. Этот жест означал, что ящик можно было закрыть. Как раз в этот момент сопровождавший полковника следователь обнаружил переписку меньшевиков с лидерами II Интернационала. Он показал бумаги полковнику и высказал предположение: «Все, живущие в этом доме, наверняка меньшевики».

Такаишвили попытался объяснить:

— Переписку с лидерами II Интернационала осуществляло наше правительство. Я же не принадлежу к их партии и служу только археологии.

Ему велели раскрыть и второй ящик. В руки попала маленькая бронзовая статуэтка, изображавшая Наполеона на коне. Статуэтка была слегка повреждена. Полковник снова махнул рукой и сам прикрыл ящик. На этот раз немцы ушли.

Какое-то время никто не беспокоил старика. Это кажущееся затишье предвещало бурю. Как только нацисты укрепились во Франции, остро встал вопрос о переводе грузинских эмигрантов и сокровищницы в Берлин.

Как выяснилось впоследствии, часть проживавших в Берлине грузинских эмигрантов почему-то была уверена, что Гитлер сможет принести Грузии освобождение. Как раз эта группа людей смогла убедить и вызвать из Парижа в Германию талантливого ученого профессора Зураба Авалишвили. Жизнь Авалишвили бесславно оборвалась во время одной из бомбежек Берлина. С его гибелью бесследно исчез огромный исторический материал о Грузии, собранный в свое время профессором.

Проживавшие в Германии грузинские эмигранты продолжали агитировать парижских грузин, и в частности Эквтиме Такаишвили, переехать в Германию.

Такаишвили категорически возражал.

— Я, — говорил он, — охраняю находящиеся в Париже музейные ценности и должен оставаться здесь до той поры, пока не сумею вернуть сокровищницу родине.

Такое упорство Такаишвили породило еще одну опасность — в конце концов нацисты потребовали у французского правительства перевезти сокровищницу в Берлин. В самый критический момент, когда судьба грузинской сокровищницы висела буквально на волоске, в поддержку Такаишвили выступил Пьер Жодон. Он посоветовал привлечь к делу несколько влиятельных персон, которые убедили нацистов в том, что сокровищница представляет интерес лишь с точки зрения истории, да и то лишь для Грузии. План удался, и сокровищница осталась в Париже.

Наступление фашистов и их приспешников на Францию получило мощный отпор народа. Для организации вооруженного сопротивления коммунистическая партия создала крупное объединение «Организасьон спесиаль», позднее получившее название «Франтирер э партизан». Эта организация стала одной из сильнейших в движении Сопротивления. Возглавлял ее член центрального комитета компартии Франции Шарль Тиссон. Первыми организаторами боевых групп были коммунисты Кара, Ребр, полковник Дюман.

Коммунистическая партия Франции считала необходимым объединение всех патриотических сил и, в первую очередь, налаживание связи с созданной генералом Де Голлем организацией «Свободная Франция». Уже к началу сорок первого года в распоряжении Де Голля было 1000 солдат и несколько кораблей, а финансовую поддержку ему оказывала Англия.

Появление на военном поприще генерала Де Голля воодушевило большинство прогрессивно мыслящих людей, в том числе Эквтиме Такаишвили. О достоинствах Де Голля как военачальника, о его доблести часто рассказывал профессору генерал Базурка Амилахвари, предсказывая генералу большое будущее. Амилахвари в свое время учился вместе с Де Голлем в военном училище Сексира, а теперь он принимал горячее участие в операциях «Свободной Франции» и считался одним из заместителей генерала.

После открытия в Европе второго фронта движение Сопротивления получило небывалый размах. Французский народ своими силами смог освободить большую часть территории Франции. Вместе с французскими трудящимися в антифашистской борьбе принимали участие и бежавшие из концентрационных лагерей советские воины, в том числе и грузинские патриоты.

Эквтиме Такаишвили внимательно следил за каждым шагом Красной Армии, ее победным продвижением, за операциями по изгнанию оккупантов из Франции. Он знал, что все эти действия приблизят осуществление заветной мечты — спасение сокровищницы и возвращение на родину.

В один из воскресных дней весны 1944 года из Парижа навестить Такаишвили приехала близкая его семье грузинская эмигрантка Елена Перадзе. С ней была незнакомая молодая девушка.

— Познакомьтесь, дядя Эквтиме, это Манана Мchedlishvili из Грузии, — улыбаясь сказала Елена Перадзе.

Такаишвили сидел, откинувшись, на тахте. Услышав эти слова, он с трудом поднялся и, прищурив глаза, посмотрел на худенькую черноглазую девушку.

— Как ты сюда попала в такое время? Ведь идет война? — спросил он.

Манана опустила голову:

— Как раз война и оторвала меня от дома и заставила скитаться в чужих краях, — только и сумела сказать Манана. Из ее глаз полились слезы.

Старик приласкал девушку, усадил на тахту и подробно расспросил обо всем.

Манана была из Сагареджо. Отца расстреляли меньшевики во время выступлений 1924 года. Рано овдовевшая мать растила четырех дочерей. Самая старшая из сестер Манана успела окончить среднюю школу и в 1942 году пошла добровольцем на фронт. Она прошла обучение на санитарных курсах, а затем принимала участие в жарких боях на берегу Черного моря. Под Новороссийском она попала в плен. Из концентрационного лагеря ее перевезли в Берлин. Какое-то время она жила с грузинскими эмигрантами, а потом ее взяли на работу в Городок Николазе, в частную клинику доктора Хунеке. В клинике она познакомилась с грузинским военнопленным Александром Морчиладзе. Молодые люди полюбили друг друга. Работая в тяжелых условиях клиники Хунеке, они делили друг с другом и маленькие радости, и горе.

В один из осенних дней была объявлена воздушная тревога. Больных женщин увели в бомбоубежище. Манана вспомнила, что наверху, в ординаторской, она забыла одежду, и решила вернуться за ней. Поднявшись на верхний этаж, она включила свет и тут же была оглушена взрывом — это американцы бомбили немецкие части, стоявшие как раз рядом с клиникой. Полиция решила, что зажженный во время воздушной тревоги на верхнем этаже свет был каким-то сигналом противнику, и Манана была аре-

стована. После этой истории гестапо выслало Манану Мchedlishvili за пределы Германии. Ее направили в Париж. Выслали куда-то и Александра Морчиладзе.

— Ко мне ее привел один знакомый, — сказала Елена, — верю, она хорошая девочка. Всего лишь несколько дней, как Манана живет у меня, но я успела ее полюбить. На фронте она вела себя героически. Ее называли чертенком. Я подумала, может быть, она будет вам полезна, сможет стать вашим секретарем. Вот и привела сюда.

— Кроме слов благодарности, я ничего не могу сказать тебе, Елена. Я очень рад, что вы все позаботились об этой девочке! Но надо и Манану спросить, захочет ли она остаться здесь.

— О лучшем месте я не могла и мечтать. О вас я слышала еще в Грузии, и я рада, что мне довелось встретиться с вами. Я готова служить вам, чем могу... Но только вечно я жить здесь не буду. Париж Парижем, но для меня лучше моего Сагареджо ничего нет! — на глаза Мананы вновь навернулись слезы.

— После окончания войны и я не собираюсь здесь оставаться. Все мечтаю о том, чтобы хоть прах мой удостоился родной земли. Человек без родины — как дерево с обрубленными корнями. Может быть, настанет и наш черед — и мы найдем потерянную родину. — успокоил старик девушку и по-отечески приласкал ее.

Елена провела Манану по квартире ученого. Показала ей картины, висевшие на стенах, и объяснила, что вывезены они из Боржомского дворца.

Одно только слово «Боржоми» вызвало у девушки воспоминания о Грузии. Она представила себе измученную мать, Сагареджо, берега Иори. Размечтавшуюся Манану привели в себя слова Елены:

— А теперь давай займемся обедом!

В то время в Париже не хватало продуктов. Такаишвили не так уж много получал по своей продовольственной карточке. Елена и Манана отправились в магазин, кое-что купили и вскоре вернулись домой. Картофель нашелся на кухне. Грузинские эмигранты на участках, выделенных им, в основном сажали картофель. Такаишвили нанимал молодых французов, и они обрабатывали ему землю. А после того как они установили связь с грузинскими партизанами, ребята по очереди приходили помогать старику.

Когда профессор болел, многие навещали его, в том числе и бежавшие из концентрационных лагерей соотечественники. Они беседовали с прославленным ученым, с удовольствием выслуши-

вали его советы. Такаишвили всех встречал радушно и приветливо и каждого горячо убеждал сделать все возможное, чтобы вернуться на родину. Он говорил:

— Человек, потерявший родину, беспомощнее только что вылупившегося птенца, — и затем вспоминал строки стихов Рафиэла Эристави:

Грудь материнскую вовеки
Чужою нам не заменить.

Из-за усилившихся болей в ноге Такаишвили почти совсем не мог выходить из дому. Манана ухаживала за ним, как за родным отцом. Он, в свою очередь, был внимателен к девушке, рассказывал ей интересные эпизоды из истории Грузии, о своих археологических экспедициях. Истосковавшаяся по родине Манана жадно ловила каждое слово умудренного жизнью ученого.

В свое время Такаишвили до мельчайших подробностей изучил все, имеющее отношение к историческому прошлому Грузии. Он составлял и издавал подробные описания монастырей, церквушек, крепостей, древних текстов. На все это ушло много времени и энергии. Собственно говоря, именно поэтому он не смог посвятить себя созданию теоретических трудов.

Однажды он поведал о своих старых планах Манане. Слова его звучали как исповедь:

— Из-за того, что я дни и ночи был занят общественной деятельностью, у меня ни времени, ни возможности не оставалось для кропотливого изучения найденного мною же материала. Все мои мысли и соображения по поводу того или иного памятника вылились разве что в предисловия и комментарии к публикациям. Я не создал ни одного серьезного теоретического труда — все руки не доходили. Как хорошей ищейке, почему-то именно мне попадались все интересные рукописи, вещи или другие памятники! Как говорится, судьба благоволила ко мне... Да, но сколько сил отнимал у меня постоянный поиск! Меня все время преследовала одна мысль — только бы ничего не потерялось. И я прекрасно понимал, что если весь этот материал будет собран, хорошо издан в первой интерпретации, то придет время и найдутся настоящие ученые, которые смогут добросовестно исследовать его и использовать для монографий и для заполнения пробелов в исторической науке! А что может быть радостнее и приятнее этого? Начиная с моего младшего соратника Иванэ Джавахишвили, все использовали мои публикации. В конце концов, не будь у них в руках такого материала, то и они ничего не смогли бы сделать...

С таким же вот напряжением мысли и сил, с таким же усердием и увлеченностью продолжал он на склоне лет свою работу. И неважно было, где он находился, ибо знал, что все, сделанное им, принадлежит Грузии, грузинскому народу, и верил, что делает необходимое для грузинской историографической науки дело.

Но Манане, с глубоким уважением относившейся к ученому, все же не давала покоя одна мысль — почему все же покинул Такаишвили свою Грузию, почему поддержал меньшевиков, и как раз в то время, когда открылась новая страница в жизни многострадального народа, он и его единомышленники двинулись из Батума в Париж, увозя национальную сокровищницу? Какое можно было найти этому оправдание? Какие аргументы оставались у находившихся теперь в эмиграции грузин и у Эквтиме Такаишвили в том числе?

Манана чуть ли не каждый день отправлялась на велосипеде в находившийся на расстоянии четырех километров от Левиля городок Арпажон. Оттуда она привозила продукты и, вернувшись, готовила обед, возилась по дому. Но большей частью она помогала старику, записывая под его диктовку, выполняя, таким образом, обязанности и хозяйки, и секретаря.

Для привыкшей к бурям жизни, прошедшей испытания войны девушки спокойный быт Левиля оказался тягостным. Ее тянуло туда, где решалась судьба родины. Она хотела связаться с группой партизан, в числе которых были и грузины и о которых она многое слышала. Всем своим существом она тянулась к ним, хотела делить с ними радость и горе, но чувство жалости и привязанность к старому ученому не позволяли ей уйти. Старик так тепло и человечно относился к ней, что Манане было трудно расстаться с ним. Кроме того, она считала преступлением бросить на произвол судьбы великого ученого, оставив его в полном одиночестве.

Долгое время Манану мучила эта раздвоенность, сомнения: «А вдруг этот добрый старик, которому я искренне и преданно служу, имеет тяжкую вину перед родиной, а я оказываюсь его единомышленницей?!». Меньшевиков она ненавидела. Именно меньшевики расстреляли ее отца. Многое она слышала и о предательствах, совершенных ими. Манана злилась на себя: «Как это я могла стать сообщницей меньшевика, эмигранта. Если я когда-нибудь вернусь на родину, чем оправдаться перед народом?»

Но все эти сомнения развеяли искренние и душевные беседы дяди Эквтиме.

Через некоторое время после того, как Манана поселилась в Левиле, к Такаишвили заглянули грузинские партизаны. Каково же было удивление девушки, когда в одном из них она узнала Александра Морчиладзе. С того момента, как ей пришлось покинуть Германию, она ничего не слышала об Александре. Как выяснилось, Александра Морчиладзе выкупила из лагеря военнопленных грузинская эмигрантка, жившая в Париже, Наметиа Бердзенишвили. Александр тоже потерял Манану из виду, и вот где суждено было им встретиться!

После того как первый прилив радости от неожиданной встречи улегся, Александр сообщил им некоторые новости. Как он сказал, партизаны Парижа и всей Франции объявили солидарность с Национальным комитетом освобождения. Вероятно, скоро начнется всеобщее восстание и правительство Виши с маршалом Петеном во главе будет низложено. Если этот замысел французских патриотов будет осуществлен, то новое правительство, должно быть, возглавит генерал Де Голль.

С блеском воодушевления в глазах слушал старый ученый рассказ партизана. Манана же еле сдерживала свою радость.

Через какое-то время Александр Морчиладзе отправился в Париж к Наметии Бердзенишвили. Манана проводила его и вернулась поздно ночью.

В последующие дни события развивались молниеносно.

2 июля 1944 года Национальный комитет освобождения Франции с генералом Де Голлем во главе был объявлен временным правительством Франции. Петен и Лаваль, так называемое «правительство Виши», бежали в Германию. Советское руководство официально приветствовало Де Голля и выразило ему поддержку.

Полномочным послом Советского Союза во Франции был назначен Александр Ефремович Богомолов.

Такаишвили, как ребенок, радовался этим событиям. К этой радости прибавилось и известие о том, что Манана и Александр решили пожениться. Эквтиме расцеловал обоих и, как отец, благословил их.

Профессор сообщил об этом Елене Перадзе и Наметии Бердзенишвили. Назначили день свадьбы. Жениха и невесту к грузинской церкви сопровождали супруги Олив и Мерабель, Наметиа, Елена и несколько партизан — друзей Александра.

Вернувшись из церкви, сели за накрытый праздничный стол. Тамадой был Эквтиме Такаишвили. Радость посетила дом старика. Теперь у него были и дочь, и зять. Пели «Мравалжамнер» и желали друг другу скорейшего возвращения на родину.

Манана тоже включилась в партизанскую борьбу. Она ловко выполняла конспиративные поручения и продолжала внимательно ухаживать за стариком.

В середине августа в Париже началось восстание. Вся страна была охвачена единым порывом, направленным на освобождение от фашизма. Манана и Александр принимали самое активное участие в освобождении парижских улиц — Сен-Мишель, Монпарнаса и других.

После изгнания врагов партизаны получили небольшую передышку. Манана и Александр чаще стали заходить к профессору, а иногда оставались у него на ночь. Восхищенный смелостью и бесстрашием Мананы, Такаишвили подарил ей две свои книги с автографами.

Однажды, когда Манана и Александр сидели у Такаишвили и что-то читали, к профессору зашел грузинский эмигрант по фамилии Вачнадзе. Он назвал себя полковником и, поздоровавшись, объявил:

— С вами хочет говорить полномочный посол Советского Союза во Франции Александр Ефремович Богомолов. Он выслал вам машину и просит приехать.

— Я благодарен послу за приглашение, не сомневаюсь, что он вызывает меня по поводу моего заявления. Но вы? Как? Откуда? — не скрывал своего удивления хозяин.

— Дело, в котором вы заинтересованы, меня интересует не в меньшей степени. Но подробнее об этом поговорим позже, — патетически заявил одетый в штатское полковник.

Такаишвили с сомнением взглянул на него, но быстро оделся, сел в предложенную полковником машину и направился в Париж.

Такаишвили тепло был принят в посольстве. Приятной внешности, представительный, образованный дипломат, Богомолов еще до беседы пригласил гостей к завтраку. Пригубили французского шампанского. Богомолов говорил об успехах советских войск и армии союзников, неизбежности краха гитлеровской Германии, о дружбе Советского Союза и Франции — обо всем, что, по мнению Такаишвили, могло приблизить момент возвращения со-кровищницы на родину.

— Ну, а теперь, Эквтиме Семенович, поведайте нам, что вас беспокоит. Я готов вам всячески помочь, — обратился к Такаишвили посол.

— Мое сокровенное желание, господин посол, — ответил Такаишвили, — да и справедливость требует того же, — вернуть

Грузии вот уже четверть века назад вывезенную во Францию сокровищницу.

— Я пока еще не в курсе этого дела, и будет неплохо, если вы все изложите письменно и передадите мне.

У Такаишвили все было подготовлено заранее, и он тут же передал заявление Богомолу, который, прочитав его, сказал:

— Я переговорю по этому поводу с президентом Де Голлем. Нам вскоре придется вместе лететь в Москву. Трудно предвидеть, как договорятся между собой главы правительств двух государств, но одно могу вам обещать — я лично буду всячески содействовать тому, чтобы ваша просьба приняла деловой оборот.

Довольный таким ответом, Такаишвили поблагодарил посла.

Как только разговор был окончен, вмешался полковник Вачнадзе и передал послу какую-то бумагу. Как выяснилось, полковник требовал от владельцев сокровищницы и лично от Эквтиме Такаишвили выплаты 50 тысяч франков.

— За что вы просите эту сумму? — спросил удивленный Такаишвили.

— Именно такую сумму должен получить защитник по делу вдовы Оболенской, — ответил Вачнадзе.

— А я тут при чем? Адвоката вы выставили против нас, дело проиграли, естественно, на вас и легла ответственность за расходы по судебному делу. А сейчас вы хотите заставить меня выплатить эту сумму? Интересно, именем какого закона вы действуете?

Полковник ничего не мог ответить Такаишвили. Богомол с удивлением взглянул на Вачнадзе и спросил у профессора:

— Эта сумма не была истрачена на защиту дела о сокровищнице?

— Но ведь это они подали иск! Этот молодой человек, которого я вижу впервые, оказывается, выступает в защиту Оболенской, той самой Оболенской, которая в течение семи лет судилась с нами и окончательно проиграла дело. Сама же госпожа Оболенская так была этим оскорблена, что перебралась в Германию! Видимо, поверенным она оставила полковника Вачнадзе!

Полковник попытался оправдаться, но, явно посрамленный, окончательно потерял расположение Богомола, и посол, отвернувшись, продолжил разговор с Такаишвили:

— Как я вам уже сказал, в ближайшее время я поговорю с президентом Франции, ну а потом вопрос будет рассмотрен в Кремле. Вы же будете поддерживать связь с юрисконсультom посольства Гузовским — он будет в курсе всех дел.

Такаишвили еще раз поблагодарил Богомолова и вышел из посольства.

Богомолов горячо взялся за дело. Он сразу же направил официальное письмо в Москву, в Министерство иностранных дел. Ответом на запрос был меморандум, полученный в Париже как раз за несколько дней до отъезда Де Голля в Москву. Президент попросил Богомолова представить необходимый материал. Богомолов еще раз вызвал Такаишвили, и тот составил очередное заявление, на этот раз на имя правительства Де Голля. Посол успел передать ему это заявление перед отлетом в Москву. Война еще продолжалась, и окончательное освобождение Франции во многом зависело от Советского Союза. Отчасти из-за этого Де Голль не мог ответить отказом и сразу же отдал распоряжение «немедленно вернуть» Грузии ее сокровищницу.

Президент вызвал министра юстиции Жанене и обязал его оформить дело надлежащим образом. Тот в свою очередь передал дело в городской суд департамента Сены, который и вынес соответствующее постановление.

Наконец-то сбывалась мечта. Радости Такаишвили не было предела, когда ему сообщили о решении правительства.

Выполнение распоряжения президента было возложено на юрисконсульта Гузовского, Эквтиме Такаишвили и деловода посольства.

Гузовский и Такаишвили сразу же направились к Пьеру Жодону, но тот, долгое время лелеявший сокровищницу, не захотел с ней сразу же расстаться и заявил:

— Де Голль не имел права отдавать такое распоряжение. Этот вопрос должен решаться в Министерстве внутренних дел!

— Если вы не примете окончательного решения, я сейчас же направляю Де Голлю телеграмму о том, что вы не подчиняетесь его распоряжению! — после такого категорического заявления Гузовского Жодон отступил и принялся выполнять распоряжение президента.

В начале 1945 года двое грузинских ученых вылетели из Тбилиси в Париж с дипломатической миссией. Им было поручено сопровождать сокровищницу и возвращавшихся на родину эмигрантов.

Тегеран — Каир — Багдад — Марсель — Дижон — Париж — таков был авиамаршрут этих двух ученых — Петре Шария и Шалвы Амиранашвили.

21 января самолет с грузинской делегацией приземлился в Париже, в аэропорту Орли. Делегацию встречали сотрудники

советского посольства. Вновь прибывшим сообщили, что по распоряжению генерала Де Голля сокровищница уже хранится в сейфах советского посольства.

На следующий день Шария и Амиранашвили вместе с представителями посольства присутствовали на торжественном открытии университета Сорбонны. Это был большой национальный праздник французского народа.

После изгнания оккупантов из Франции было восстановлено древнейшее учебное заведение страны, закрытое во время господства нацизма. Выстроившиеся в два ряда у стен университета студенты овацией приветствовали представителей Советского Союза. Были исполнены государственные гимны Франции, Советского Союза и дружественных стран — Англии и США.

В тот же день, вечером, Шария и Амиранашвили навестили Эквтиме Такаишвили, жившего в то время в квартире генерального консула.

Такаишвили к тому времени исполнилось 82 года. Он жаловался на здоровье, часто болел. Последний раз он простыл в библиотеке Версаля, где составлял список экспонатов сокровищницы. Библиотека в то время не топилась. Такаишвили смог составить описание лишь части имущества. Начатую им работу продолжил и довел до конца Амиранашвили. После сопоставления всех списков экспонаты аккуратнейшим образом упаковали и уложили в ящики. В этой работе им помогали и грузинские партизаны, в том числе Манана Мchedlishvili и Александр Морчиладзе.

После конфискации французским правительством грузинской сокровищницы Такаишвили ничего не знал о судьбе отдельных экспонатов. А когда выяснилось, что все находится в полном порядке, очень обрадовался. Он еще раз сердечно поблагодарил мсье Пьера Жодона, который так рыцарски охранял оставшееся без хозяина имущество чужой страны.

Во время пребывания в Париже Шария и Амиранашвили прочитали множество лекций и докладов. Эти беседы не в одном эмигранте пробудили желание вернуться на родину.

К 15 февраля все работы по описанию и упаковке сокровищницы были окончены. Но всех охватила паника. Никто не мог гарантировать благополучного прибытия сокровищницы и сопровождавших ее лиц в Грузию — ведь на континенте все еще бушевала вторая мировая война!

После долгих дней ожидания, в начале апреля из Москвы прибыли три самолета. На один из них погрузили архивные материалы советского посольства, и самолет вылетел в Москву. Как

только стало известно о благополучном его приземлении, срочно загрузили и остальные два — на них поместили сокровищницу.

Перед отъездом Такаишвили в сопровождении Мананы Мчедлишвили отправился в Левиль, чтобы последний раз взглянуть на могилу жены. Встав на колени, старик умолял простить ему, что он не может выполнить ее последней просьбы — перенести ее прах на родную землю.

Когда Такаишвили вернулся домой, Манана и другие женщины помогли ему уложить вещи. Прощаясь со стариком, Манана надеялась на скорую встречу с ним в Грузии.

Неожиданно, когда все уже было готово, Такаишвили отказался лететь. Некоторые приписали это причудам возраста, кто-то считал, что он просто не может расстаться с могилой любимой жены. Но старика беспокоило совсем другое — как он покажется на глаза соотечественникам, не имея хоть мало-мальски приличного костюма?

Слишком поздно узнали в посольстве, что великий ученый, хранитель сокровищницы, был чуть ли не самым бедным жителем Парижа.

5 апреля 1945 года два самолета поднялись над парижским аэропортом Бурже. Эквтиме Такаишвили вместе с грузинской делегацией направлялся из Парижа в Тбилиси. Верный страж, он вновь сопровождал вывезенную четверть века назад сокровищницу.

Объявили маршрут: «Париж — Марсель — Рим — Бенгази — Каир — Тегеран — Тбилиси».

Через семь дней пути, 11 апреля, самолет благополучно приземлился на тбилисском аэродроме.

Состарившийся, поседевший Эквтиме Такаишвили, прихрамывая, спустился по трапу. Как только он ступил на родную землю, увидел теплое небо Грузии, взглянул на огромную толпу ожидавших его людей, сердце его сжалось, а глаза невольно наполнились слезами. Он помахал рукой, приветствуя свой народ, встал на колени и, низко склонившись к земле, прошептал слова Акакия Церетели:

К тебе больным я возвращаюсь.

И ты мой излечи недуг!

Перевод А. МАРГВЕЛАШВИЛИ

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Обсуждаются проблемы романа

Василь БЫКОВ,
прозаик (Минск)

ВЕЧНАЯ ТЕМА ИСКУССТВА

Говорят, что главным показателем состояния литературы на каждом данном этапе является степень развития жанра романа, что только ему дано поднять на себе самый полный груз времени со всем комплексом его идей, тревог и исканий — его правды. Наверное, это так. Даже в младописьменных литературах роль романа становится все заметнее, не говоря уже о литературах старых и развитых. Действительно, мы имеем замечательные достижения в этой области прежде всего благодаря ряду отличных произведений последних лет, связанных с понятиями грузинский роман, литовский роман, именами русских романистов, авторов деревенской и военной прозы. Очевидно, характер романа, его возможности, его наполненность правдой времени резко изменились с течением лет и выдвинули роман на передний край литературы.

А ведь еще лет 10—15 назад ситуация в этой области была иной, роман не был тем, чем он стал ныне. Помнится, как Александр Твардовский, тогдашний редактор «Нового мира», неоднократно утверждал, что самым оперативным и современным прозаическим жанром является повесть. И действительно, 50—60-е годы были временем расцвета повести. Почему так? Разумеется, на то были свои причины, некоторые из них отошли со своим временем, другие остались. Если говорить о злободневности данного жанра, его оперативности, то, разумеется, следует отдать

Окончание. Начало см. в № 6.

предпочтение короткой, со сжатым сюжетом, проблемной повести. Точно так же, как в этом отношении повесть уступает очерку, также расцветшему в настоящее время. В самом деле, по остроте познания жизни, быта, экономических, нравственных и иных проблем очерк продемонстрировал свои блестящие возможности, связанные нынче с именами Ивана Васильева, Юрия Черниченко, Анатолия Стреляного и других. Вот уж действительно чьи очерки можно класть на стол Госплана, пусть попотеет. Без преувеличения можно сказать, потеть ему в этом случае придется долго, потому что проблемы, поднимаемые в них, не шутейные и разработаны они, как правило, глубоко и остро. Авторам повестей трудно за ними угнаться. Тем более авторам романов, хотя литература время от времени становится свидетельницей такого рода попыток, когда некоторые из романистов целиком посвящают свое детище какой-либо хозяйственной, экономической или даже технической проблеме. Это так называемый производственный роман. Не знаю, как критика (я здесь выступаю как частное лицо, так сказать — рядовой читатель), но я не могу вспомнить сколько-нибудь значительных удач в этом направлении. Очевидно, в наш сложный, бурно развивающийся век, век НТР, многие проблемы и экономические искания устаревают раньше, чем найдут свое воплощение в романах, которые, как известно, нескоро пишутся и еще медленнее издаются.

Речь о том, чем же все-таки является нынче роман, что он может и чем он быть должен?

Наверное, это мудрые люди придумали в свое время разграничение литературы по жанрам, и хотя нынче, как никогда прежде, жанры эти становятся неопределенными, размытыми, подверженными взаимодействию и смешению, все-таки жанровые законы остаются в силе, и безнаказанно преступать их невозможно. Опыт деревенской и военной прозы, опыт наших лучших мастеров литературы красноречиво подтверждает это. То, что свойственно повести, не очень подходяще роману. Роман может то, что не по силам повести. У рассказа одни задачи, а у очерка совсем другие.

Разумеется, я далек от того, чтобы выводить здесь какие-то правила, тем более навязывать их уважаемым романистам. Но мне думается, почему бы нам не осмыслить уроки того же Айтматова, Бондарева или Распутина? Во всех трех последних романах этих авторов при всем различии их — тематическом, философском, стилевом, этическом — в основе авторской концепции лежит человеческая судьба, судьба личности в драматические моменты нашей истории. Неважно, как и какими средства-

ми воплощается это в романе — у Айтматова это почти вся жизнь героя, у Бондарева — два кардинальных ее момента, так взаимоувязанные между собой, что определяют всю заключенную между ними жизнь. То же у Распутина: на одном случае из жизни — случае, разумеется, очень значительном и важном — показана человеческая судьба и даже более, как писал Адамович, «всемирное наше прощание с крестьянской Атлантидой, постепенно скрывающейся во всем мире», уходящей из жизни в историю. Конечно, нужен недюжинный талант, чтобы решиться на задачу такой грандиозности, драму, связанную с судьбой личности или тем более целого класса, не каждый романист обладает способностями такого масштаба. И в данном случае успех во многом был обеспечен счастливым (технически выражаясь, оптимальным) сочетанием высокой задачи и мощных литературных способностей. Значит, приходится соразмерять эти наши возможности — что делать? Иначе каждый из нас написал бы по «Войне и миру» за свою жизнь, по крайней мере усидчивостью» нас не удивишь, а в благих намерениях никто не усомнится.

Да, теперь уже совершенно очевидно, что не всякая пухлая книжка прозы — роман, так же как не всякое стихотворение лесенкой есть поэзия.

Жизнь и смерть — вечная тема искусства, потому, очевидно, что человеческая судьба заключена именно между двумя моментами — рождением и смертью. Независимо от того, как человек к ним относится, они определяют его судьбу, его самооценку среди других ему подобных на этой земле. Особенно значительна и самодовлеюща именно смерть как итог судьбы, ее следствие. Можно бояться или презирать ее, пренебрегать ею или даже жаждать ее, но независимо от нашего к ней отношения никому не дано избежать ее, и потому она незримо и постоянно присутствует в человеческом бытии, в значительной степени определяя его содержание. Когда-то в годы войны мы, молодые тогда люди, познавшие жизнь именно в форме жестокой войны, привыкнув к ней, даже не замечали ее постоянно и незримо давящего на сознание пресса, мы сжились с ним и просто не могли себя ощущать иначе. И только 9 мая 1945 года, когда этот пресс вдруг исчез, мы не столько поняли, сколько неожиданно для себя почувствовали, от чего избавились. Прежде всего от неопределенности нашей судьбы. Впервые за годы войны жизнь обрела для нас значение смысла и избавилась от власти случайного. Но ведь многие не дожили до этого дня, не дошли до Победы, и что меня давно поражает — не то, что они погибли, это слишком банально на войне, а то, что, погибнув, они так

и не узнали об окончании этой войны. Погибли в неведении. И до сих пор пребывают в оном. Никогда не узнают, может быть, о самом важном из всего, что в течение ряда лет занимало на земле умы миллионов людей.

Понятно и в общем объяснимо нередко высказываемое читательское желание счастливых финалов в наших произведениях. Но вот, что касается прозы о войне, то я, например, каждый раз теряюсь, сталкиваясь с выражением подобных желаний. В таких случаях сам по себе возникает вопрос: что же такое литература? И что такое искусство вообще?

Казалось бесспорным, что искусство — это средство познания жизни с целью ее совершенствования. Поэтому лучшие произведения искусства всегда будоражили человеческое сознание, лишали человека самоуспокоенности и довольства собой, своим образом жизни. Мы знаем множество примеров такого рода во все времена — от Сервантеса до Айтматова. Но мы не можем также закрыть глаза и на то обстоятельство, что с некоторых пор искусство все больше становится средством уикенда, сонливого отдыха или шумного фестивального празднества. Один уважаемый кинорежиссер в недавней дискуссии в «Литгазете» так и написал черным по белому: «Человек идет в кино, чтобы развлечься, значит задача кино развлечь его», коль оно получило с него 50 копеек за билет. Книжки подорожали, полтинником не обойдешься. Тогда что же, стараться развлекать на рубль? Или на трешку и больше, если это роман? Разумеется, я несколько утрирую.

Опять же возвращаюсь к затронутому здесь вопросу. Безусловно, Амирэджигби прав, наша проза становится все более многословной. У нас есть множество примеров, особенно в романистике, когда вещь умна, в ней высказано много такого, чего в других видах искусства не найдешь, за исключением одного маленького недостатка, а именно: если бы все это можно было прочесть! Но прочесть, увы, без определенного задания, без вышколенного характера просто иногда бывает невозможно.

И возвращаясь к теме занимательности, еще раз хочу сказать, как можно скатиться в противоположность. В таком случае надо всегда положиться на художника, на его вкус, прежде всего на его художнический вкус.

Не могу отделаться от вопроса: что должна литература? Учить? Вряд ли. В наше время учителей-наставников достаёт и без литературы. Пробуждать чувства добрые? Но в области чувств мир дожил до ядерного топора, тут не до добрых чувств — не потерять бы рассудок от ненависти. Может быть, в занимательной форме средствами беллетристики проповедовать исти-

ны, которые в другой, незанимательной форме, уже не усваиваются обществом? Чем больше размышляешь над этими и схожими с ними вопросами, столь естественными для людей нашей профессии, тем все больше склоняешься к единственно разумной возможности реалистического искусства: показать человеку человека таким, каков он есть, и пусть он решает сам, каким ему быть. Пусть он сам выбирает свою судьбу, альтернативность которой в наше время выражается предельно просто: жить или умереть.

Но тут опять же есть один щепетильный вопрос, относящийся именно к этому показу. Говорят, что культура — память человечества. Это правильно. Все дело, однако, в том, что следует помнить, — ведь человеческая память избирательна, а искусство уже в силу своей природы избирательно тем более. Например, что касается войны, то один из ее участников из всего пережитого наиболее ярко запомнил, как его догоняли, хотели убить, но промахнулись, и он до сих пор вскакивает по ночам в холодном поту. Другой — как его наградили орденом, и он спустя годы не перестает переживать радостные волнения по этому поводу. Третьему не дает покоя случай, когда рассерженное начальство назвало его «дураком», но теперь это популярное слово в устах не очень разборчивого на слова начальства звучит для него как «молодец» и заставляет каждый раз умиляться. Это я говорю о ветеранах, но то же можно сказать и об авторах военных романов.

Теперь нередко можно услышать от наших читателей, в том числе и ветеранов, суждения вроде: «Ну сколько можно перелопачивать одно трудное да кровавое, ведь были же на войне и веселые моменты, и шутка, и смех». То есть на первый план выходит все то же желание развлечься. Но ведь во все времена жаждущие развлечения шли на торжища, в скоморошный ряд, но никогда — во храм. Боюсь, что смешение жанров и особенно забвение высоких задач литературы грозит уравнивать торжище с храмом, сделать искусство товаром ширпотреба...

Я думаю также, что хотя мы, допустим, и не гениальные писатели, но уж, во всяком случае, квалифицированные читатели. То есть относительно хорошо знаем жизнь, чтобы разбираться в ее запутанных эмпиреях, и кое-что смыслим в литературе. И тут возникает любопытный парадокс: почему мы, люди, в силу своего воспитания и образа жизни зачастую далекие от крестьянских низов, от жизни «неперспективных» деревень, быта древних стариков и старух, мало или вовсе неграмотных отшельников в чаще всего никогда не виданной нами дремучей тайге с

их размеренным, однообразным и часто примитивным укладом, почему мы частенько с куда большим интересом и участием читаем об их делах и заботах, нежели о блестящих научных или служебных успехах тех, кто гораздо нам ближе по опыту жизни, мировоззрению, мироощущению — высокообразованных жрецов науки, искусства, руководителей, генералов, начальников главков. Почему безграмотный дед на колхозной бахче куда интереснее изъездившего мир дипломата, определяющего судьбы народов, в то время как наш дед не может удовлетворительно определить судьбу единственной своей буренки, оставшейся на зиму без сена. О том печаль его, и она нас трогает больше, чем драматические переживания упомянутого дипломата перед его уходом на вполне заслуженный отдых с солидной пенсией и статусом пенсионера союзного значения. Почему солдат в окопе для меня как читателя во многих (если не во всех) отношениях предпочтительнее своей судьбой удачливого маршала в блеске его снаряжения, штаба и его маршальского глубокоумия? Почему так? — хочу я задать вопрос уважаемым коллегам, хотя и предвижу их скорый ответ: все дело в таланте автора. Да, но не совсем. Истинность таланта великолепно проявляется уже в выборе героя, который и внушает нам вышеназложенные чувства. Исчерпывающий же ответ на этот вопрос мне, однако, неведом.

В заключение хочется сказать, что роман, помимо прочих своих достоинств, это еще и очень серьезный жанр, вершина литературы. Все-таки вершина — не драма, но роман. В отличие от превратной, зависящей от многих причин жизни драмы он неизменен и — на века. И пусть его читают старинным индивидуальным способом — наедине; есть надежда, что лучшие наши романы переживут свое время. Чего не скажешь о произведениях драматургии и особенно кино, которые захватывают миллионы, но в вечности живут доли секунды и нередко умирают еще при жизни своих создателей. Посмотрите старые картины, которые поражали когда-то наше воображение, — тягостное чувство вызывают они сейчас. Конечно, тягостное чувство могут вызвать и некоторые романы уже в момент своего появления, но причины одинакового явления здесь все-таки весьма различны.

Поэтому, заканчивая, я хочу провозгласить: «Да здравствует талантливый, пусть неудобный и неллицеприятный, но честный и мужественный роман — главное достижение нашей литературы!»

Григорий БАКЛАНОВ,
прозаик (Москва)

НА УРОВНЕ ИСКУССТВА

Нынешняя ситуация в области романистики несколько напоминает мне положение в армии в 1943—44 годах, во второй половине войны. Тогда надо было пополнять войска, и все, кто негоден был в 1941 году, в 1943—44 уже были годны, все шли в строй. Вот так, собственно, и с романами, поскольку они должны быть, их должно быть много, и для престижа порой зачисляется сюда все, что имеет отношение к роману, и то, что не имеет отношения к нему. Я, например, никак не понимаю, почему, скажем, маленькие романы Ветемаа, писателя, любимого мною, — романы, а повести Распутина — повести? И почему, скажем, «Осень патриарха» — роман, а не повесть?

Все это весьма условно, мы это прекрасно понимаем, и если брать только роман, то просто не было бы такого писателя, как Шукшин. А в то же время это один из лучших писателей нашего времени, очень сильно повлиявший на образ мыслей многих людей, и в частности своими рассказами.

Я, например, никак не понимаю, как можно на родине Достоевского говорить уничижительно об интеллектуальной прозе? Более интеллектуальной прозы, чем проза Достоевского, по моему, в истории человечества не было.

Предыдущие выступавшие много говорили о произведениях Нодара Думбадзе и Чабуа Амиреджиби. Действительно, роман Чабуа Амиреджиби во многом приключенческий, прекрасный роман. Можно ли рецепт этого романа распространить на другую литературу, как здесь говорилось? Между прочим, биография создателя этого романа легендарна. И характер этого человека тоже в какой-то степени легендарный. Человек с таким характером и такой биографией и должен был написать именно такой роман. Но можно ли распространить этот метод на Трифонова, на Шукшина? Это все разное, и должно быть разное. В многонациональной стране, такой, как наша, наивно думать, что плодит какой-то один сук на дереве и все яблоки на нем растут, все синицы на него садятся...

Гоголь написал «Шинель», а что же в это время происходило? В это время, скажем, было одно из нашумевших дел, дело московского откупщика, которое насчитывало, когда велось следствие, 15 тысяч листов. Когда оно было востребовано в Петербург, его погрузили на 10 подвод и повезли туда из Моск-

вы. По дороге исчезли подводы, лошади и все дело, и не были никогда разысканы. Какой прекрасный сюжет! Какое приключение! А Гоголь берет и пишет «Шинель». Видимо, в характере каждой литературы, в характере каждого народа, в характере художника заложено то, что может написать он и никто другой. И романы, книги прежде всего различаются талантом и характером создателя. И когда мы говорим, что в таком-то романе все хорошо, хороши мысли, хороши проблемы, но он не читается, так речь не о том, что можно убавить или добавить, а речь идет о том, что это не произведение искусства. Потому что произведение искусства всегда совершенно. И всегда интересно.

Когда обсуждали «Калину красную», были возражения: я помню, кто-то осуждал, кто-то хвалил. А Шукшин сказал: если идет речь об искусстве, то это уже другой уровень разговора, тогда спасибо вам только за одно это. Это совершенно иное измерение. Потому что тут есть открытие, тут есть исповедь, тут есть тот дух, которого нет ни в одном другом произведении. Тот единственный дух, который свойственен этому создателю, а уж он выражает все остальное.

Так же невозможно думать, что художник может быть не национален. Художник всегда национален, когда он создает общечеловеческое.

Вот я, честно говоря, не понял, почему в романе Айтматова видят какую-то фантастическую струю? Я там никакой фантастики не вижу. Однажды с галереи публики я посмотрел вниз, где шло заседание ООН, и совершенно зримо увидел другую планету. Это все происходило на другой планете. Особенно если сопоставить со временем моей солдатской жизни. А этому предшествовала организация Лиги наций, и тоже шли заседания на этой планете. Если взять этого путевого обходчика и вот это заседание — это разные планеты. Чингиз Айтматов пишет совершенно реальную картину. Конечно, у этой книги, как у всякой книги, можно найти и недостатки. Но это если бы она писалась в спокойное время, тогда литературоведы могли бы спокойно разбирать ее достоинства и просчеты. Но эта книга написана как предупреждение человечеству, потому что на нашей планете все может исчезнуть. И если вести споры так, как будто нам суждены тысячи и тысячи лет жизни, тогда, конечно, все это можно спокойно разбирать. Но эта книга по принципу своему написана как политический роман, так как в свое время были написаны «Бесы». Это крик писателя к людям. А мы его разбираем в спокойной семинарской обстановке. Я думаю, что это и есть подвиг писателя, что в наше время только так надо пи-

сать. И если вот так думать об этой книге, то даже странными становятся многие наши споры. Потому что человечество впервые живет сегодня, как в последний день своей жизни, когда очень ничтожные люди способны нажать кнопку, люди, которые способны отменить все, что создано человечеством.

Вот так, я думаю, написан этот роман. Это очень серьезное слово о нашем времени.

Ушанги РИЖИНАШВИЛИ,
прозаик (Тбилиси)

О ФИЛОСОФСКОМ РОМАНЕ

Сегодня темой нашего разговора является многонациональный советский роман, и мы полностью отдаем себе отчет в его огромном стилевом разнообразии, национальном своеобразии и содержательном богатстве. Я не стану анализировать романы, которые назову, — они, я уверен, отлично всем знакомы, и в этом нет нужды. Просто исходя из своего скромного опыта читателя, постараюсь обосновать одну особенность современного, так называемого философского романа в нашей многонациональной литературе, особенность, которая обнаружилась для меня в процессе чтения некоторых произведений советских писателей последнего времени. Сразу же оговорюсь — мне представляется весьма условным или, точнее, имеющим чисто рабочую функцию деление романа на «производственный», «деревенский», «городской», «философский» и т. д.

Впрочем, условность последнего дозольно специфична (я имею в виду «философский» роман), ибо, на наш взгляд, философским следует именовать любой истинно современный роман (будь то хоть «деревенский», хоть «городской»). Ведь, в конечном счете, все проблемы в романистике начинают все чаще группироваться вокруг одной, центральной для современного человека проблемы — проблемы бытия. Именно поэтому мне кажется, что советский роман, в том числе и, может, чаще других грузинский, совершает скачок от быта к бытию, от описательства к концентрированному художественному философствованию. В этом случае быт не исчезает, более того, бытописание приобретает некую, даже, если хотите, натуралистическую точность, оставаясь, вместе с тем, лишь первой ступенью моделирующей деятельности писателя. Но затем с помощью целого ряда иногда даже контрастно противоположных приемов, таких, как, например, мифо-

творчество или демифологизация, либо фантастичность или антифантастичность, либо притчевость или значимое отсутствие таковой, уровень быта вдруг переходит в другую плоскость, восходит на другую ступень и становится уровнем бытия. Предмет приобретает глубину и многомерность символа, сюжет становится знаком чего-то более сложного, повседневное, единичное принимает лик общего, космического, а личностный смысл героя преобразуется, укрупняется, включается в длинную цепь человеческой истории, становясь ее необходимым звеном. Более того, сама история обретает космический, а в конечном счете бытийственный смысл. При этом роман отнюдь не чурается беллетристики, которого так жаждет Лев Аннинский, и не становится тощей абстракцией, которую не любим мы все.

Вот именно это отличает известные произведения современной грузинской литературы «Закон вечности» Н. Думбадзе, «Дата Туташхиа» Ч. Амирэджиби, «Грузинские хроники» Вахтанга Челидзе, «Шел по дороге человек» и «И всякий, кто встретится со мной» О. Чиладзе, «Лука» А. Сулакаури, «Гость» Г. Гегешидзе, «Стенание, или жизнь Давида Гурамишвили» Э. Маградзе, «Помоги!» — сказал он» Т. Бибилури, «Год активного солнца» Г. Панджикидзе, «Тяжелый крест» Реваза Джапаридзе, «Ветер, которому нет имени» О. Чхейдзе, «Цотнэ, или падение и возвышение грузин» Григола Абашидзе, «Большой аметист» Г. Дочанашвили и другие. Романы эти, точнее большинство из них, не являются историческими в часто употребляемом и потому установившемся значении этого слова, но они не являются и внеисторичными, хотя порой трудно поддаются четкой и узкой временной отнесенности. Произведения эти сугубо современны и именно поэтому, как я уже отмечал выше, бытийственны, если так можно выразиться.

Та же двуплановость, то же стремление к бытийственности характеризуют, на мой взгляд, романы Чингиза Айтматова, Тимура Пулатова, «Альтиста Данилова» Владимира Орлова, «Живую воду» Владимира Крупнина, «Фальшивого Фауста, или Переработанную поваренную и приспешничью книгу» Маргера Зариня, «Воспоминания Калевипоега» Энна Ветемаа, романы Бэла и ряд других.

Герои этих произведений живут и действуют одновременно в двух измерениях, на двух уровнях — бытовом и бытийственном. Как раз в этом и состоит их сила и полнокровность. Попробуем мы оторвать друг от друга два этих уровня, и получилось бы: в одном случае — бескрылое бытописание, а в другом — абстрактное, бесплотное умствование. Именно в возможности по-

добного отрыва и таятся основные грехи нашей романистики, а основные наши удачи вырисовываются в синтетическом взаимодействии двух указанных уровней. Без быта, без повседневной жизни человека нет литературы как таковой. Но без бытийственной глубины, без включенности героя в человеческую историю, без его отношения к прошлому и настоящему, а, в конечном счете, к космическому целому — нет литературы в подлинно современном смысле этого слова.

Здесь я вынужден сделать небольшое отступление. Часто приходится как в литературной, так и в окололитературной среде слышать разговоры о литературных влияниях, как правило, в отрицательном смысле. При этом внимание фиксируется на чисто внешних моментах. Так, говоря о современном, так называемом философском романе, чаще всего указывают на Булгакова и Маркеса. Почему-то установилась традиция, а точнее мода, апеллировать к ближним, забывая о дальних и более ранних. Ведь были Сервантес и Гофман, Гоголь и Достоевский. Но еще точнее говорить о влиянии на современную литературу всего художественного опыта человечества — от ведд и библии, мифа и фольклора до более поздних авторских произведений. Современный писатель — веточка на мощном родословном древе общечеловеческой культуры, и питается он от глубоких ее корней. Поэтому разговор о сущностном влиянии не только не может принизить или уничижить настоящего писателя, а явственно свидетельствует о его плодотворной включенности в мировую культуру. Другое дело рабское подражание и слепое заимствование — они никогда не становятся и не могут стать фактом литературы, потому что дело тут решает не простая начитанность или осведомленность, а освоение, превращение «чужого» в «вещь для себя» в результате познания объективной, общей для всех, снимающей мнимую противоположность «чужого» и «своего», творящейся и творимой жизни.

Меня могут спросить, не совершил ли я насилия, поставив в один ряд столь резко отличающиеся друг от друга произведения, выросшие на различной национальной почве, вспоенные различными традициями, мироотношениями, мироощущениями, облаченные в несхожую плоть и облаченные в столь же несхожую одежду? Никому не навязывая своей точки зрения, ряд этот я выстроил, повинувшись не заранее выработанной схеме. Нет. По глубокому моему убеждению, в произведениях этих различных уровни быта, различные формы и средства восхождения, а точнее скачки к бытию, но бытийственный уровень здесь един, как едина при всей своей противоречивости история человечества,

как едино место человека в мире, человека, восстающего против дегуманизации, аморализма и социальной несправедливости. Человек постигает и творит свою сущность в повседневной и извечной борьбе со злом, борьбе конкретной на каждой исторической ступени бытия, ибо зло многолико, исторически и социально обусловлено.

Советский многонациональный философский роман по достоинству включен в общечеловеческую борьбу за прогресс, за биологическое, физическое, духовное сохранение, выживание, а, в конечном счете, бытийственное обновление человеческого рода, за утверждение справедливого мирного мира во имя человека и для человека. Роман — это человек во всем многообразии и глубине бытийственных связей с миром и с себе подобными; потому и вызывает он наше пристрастное к себе внимание.

Андрей БИТОВ,
прозаик (Москва)

РОМАН — ПОСТУПОК ЖИЗНИ

Дискуссии о романе в нашем литературоведении проводятся в разной форме далеко не первый раз, но, пожалуй, на этот раз у нее есть конкретный повод. Все наши крупные писатели наконец разродились романами. И вот тут, как ни странно, возникает и некоторая оторопь, а не только восторг... В свое время обсуждалось — живая это форма или неживая, отступила она или не отступила. И вот мы видим, что она не только не отступила, а, напротив, наступила. Наступила пора романа, и наступила пора раздумья о нем.

Литературный процесс, проходивший в поле моего зрения, начиная с 50-х годов, двигался от малой формы к большой, и вот сегодня он пришел к очень большому роману. Писатели начинали писать рассказы, потом повести, жанр рос вместе с поколением.

Как русский прозаик я вынужден признать, что многонациональный наш роман действительно сегодня в литературном процессе абсолютно синхронен. У нас именно многонациональный роман. Я не знаю, победа ли это русской прозы? То, что мы сейчас говорим о романах Айтматова, Думбадзе, Чиладзе, Амирэджиби, как о явлениях, представляющих многонациональную советскую прозу, забывая порой, что речь идет о переводном романе, уже не различая языка, я думаю, что это сдача по-

зиций русской прозой, хотя это и победа многонационального романа. То есть, получилось, что выросла советская литература, а вот что касается русской, она как-то чуть-чуть отступила, что ли. Не потому, что в ней не написано такого большого романа. Есть попытки и есть романы. Но вот этот барьер между повестью и романом в русской прозе, по-моему, еще не пройден.

Здесь очень обширное поле разговора и хочется сузить себя, чтобы рассказать хоть что-то. Я бы хотел поговорить о теме для меня больной и болезненной даже — это о так называемой увлекательности литературы.

Читатель должен войти с книгой в серьезный контакт, иначе он ее просто захлопнет. Вся увлекательность у литературы отнята телевидением и кино. В данном случае надо не столько гнаться за этой увлекательностью и скорбеть по поводу ее утраты, сколько благословить это. Ведь литература наконец-то смогла вернуться на круги своя, на письменную свою форму. Ведь испокон веков буквы резцом высекались, литература — вещь письменная. Этого не надо забывать. Она далека и от устной, и от зрительной формы. Это письменное слово.

Думаю, что будущее литературы — в более глубоком освоении ее прошлого, в возвращении на письменные позиции. А это означает возвращение на более активное чтение. Как ни парадоксально это звучит, она должна становиться не более доступной, а даже менее доступной, она должна становиться, на мой взгляд, более камерной.

Когда говорят о романе как о победе, о достижении литератора, как будто рассказ или повесть — это что-то меньшее, а вот теперь он написал наконец большее, то у меня возникает сомнение иногда, не покинуто ли в этой «крупной» форме слово. Не покинуто ли в нашем современном романе, среди которых есть, конечно, превосходные пласты правды, не покинуто ли само слово? То есть не есть ли это гонка за тем, чтобы заставить себя читать, а не за тем, чтобы прочесть. Мне кажется, что все споры о жанре немножко условны.

Роман — это длительное состояние души и письма. Значит, это такое состояние письма, при котором изменения происходят не только с героем, но и с самим пишущим. Роман — это отпечаток литературного процесса, происходящего в пишущем человеке. Но при этом нельзя сказать, что повесть, роман или рассказ для меня не отличаются качеством слова. Качество слова, то есть напряжение текста, должно быть везде, а текст в моем представлении — это связь абсолютно всех слов от первого до

последнего. То есть задача человека, берущегося за роман, становится страшно трудной. Если вы пишете рассказ, то можете еще связать первое слово с последним. Но если вы пишете роман, в котором помещаются тысячи слов, то связать все слова не может даже кибернетическая машина, это невозможно. Значит, здесь уже необходим или талант, или дух, находящийся в очень высоком напряжении в человеке.

Мы накопили такой огромный опыт, такие огромные знания, хочется сказать так много правды. Мы все это можем сложить в сумму. В конце концов там будет и правда, и ум, но будет ли это романом, будет ли это произведением? Даже в языке слово «произведение» имеет какой-то иной математический смысл. Это не сумма. Мне кажется, что это больше интегрирование. Значит, роман — это огромный интеграл жизни, а никак не сложение направлений. Некоторая рыхлость, я бы сказал, современных попыток сказать обо всем напоминает мне усталость. Словно бы человек шел, шел к роману, шел от малой формы к большей. Шел к наивысшему напряжению, и вместо того, чтобы это наивысшее напряжение испытать, ему от усталости удается лишь просто изложить все, о чем он хотел сказать.—это не относится к тем замечательным романам, о которых шла речь.

Здесь говорили о многословии, увлекательности. Надо говорить о напряжении слова, потому что слово есть духовное оружие человека, а не оружие информации. Информация — это телевидение. Информация — это наука в конце концов. А проза — это другое качество слова. И вот, вспоминая самые первые попытки моих сверстников написать роман, вижу, что мое поколение не решалось на это. Оно считало, что в наш век они не пишутся.

Вот я вспоминаю: для меня первым романом был роман Юрия Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом». Это — рубеж 60-х годов, два десятилетия назад. Как же он был написан! Там действительно сплав слов. Там нет пересечений многих планов. В конце концов, написать «Войну и мир» все-таки сумел один Толстой. А попытки сложить много планов делают почти все крупные писатели. Из этого рождается рыхлость, а не проза. И вот первый роман, который я вспоминаю, роман Домбровского — это было напряженное действие. Он написал 15 печатных листов, но это 15 листов действительно цельного текста. Я уважаю авторов, которые продолжают стоять на пороге между повестью и романом, как бы колеблются. Проза Распутина, проза Быкова — ведь людям есть что сказать! Почему же эта грани-

ца между романом и повестью так и не размыта? Очевидно, для этого есть серьезные внутренние причины, о которых я говорил.

Право на роман — внутреннее право, которое зарабатывается по традиции, во всяком случае, русской прозы всей жизнью. И много ли было написано русских романов за весь XIX век? Их можно перечислить по пальцам — штук десять-пятнадцать. Это за столько лет! Но тем не менее понятие русский роман существует. Потому что каждый русский писатель рождал роман как поступок всей жизни. Может быть, это и покажется кому-то диким, чтобы всю жизнь тратить на один роман. Есть же литературы, где мастера серийно романы пишут: по 100—200 штук. Но эта традиция, по крайней мере нам, не близка. Мы, надо сказать, этого просто не умеем, мы не умеем написать роман. Это не удастся русской прозе, так как для нее большой роман — это, по-видимому, поступок всей жизни.

Возьмем в руки книгу Чабуа Амирэджиби. Она так весома и значительна, потому что весит всю его жизнь. Когда я получил такой прекрасный подарок, то мне как читателю показалось какая тяжелая, толстая книга, сколько в ней страниц! И все время откладываешь, не решаешься взять. Потом начинаешь читать. И весь твой скепсис, равный в общем-то и любви к литературе, боязни разочарования, вдруг начинает проходить, исчезать. Я читал, например, роман Амирэджиби на Соловках — так случилось. И вдруг понял, что четыре времени как бы одновременно начинают «происходить» во мне. Во-первых, время пишущего — я знаю лично Чабуа Амирэджиби, его биографию. Во-вторых, жизнь героя. Третья жизнь — моя, читающего. В-четвертых, обстановка, в которой я читаю. Представляете, сколько активных времен включается в один роман! По крайней мере у читающего всегда сопрягаются два-три времени, и об этом нельзя забывать писателю, тем более если он взялся за роман.

Миколас СЛУЦКИС,
прозаик (Вильнюс)

СЛЫШАТЬ ДЫХАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Я часто задумываюсь, когда слышу высказывания русских писателей о том, что их роману пока еще чего-то не хватает, что они ждут в этом жанре новых открытий и достижений, и делаю для себя вывод, что уже это ощущение ожидания дает надежду на свершение. Может быть, дело в том, что русские писатели

много сил потратили и до сих пор тратят на изображение войны. Конечно, иначе быть не могло, литература не могла пройти мимо темы войны, основную тяжесть которой вынес на своих плечах русский народ. Военная тема как возбудитель, аккумулятор литературы не может перестать существовать. Больше того, воплощение ее — долг русских и всех советских писателей.

Коснусь того, что называется «деревенской» литературой. Конечно, термин плохой. Скажем, в западной литературе такого понятия, как «деревенская» литература, нет, хотя и они хлеб едят, и у них есть крестьянство, пусть и небольшое в процентном отношении. Но люди живут на селе, выращивают урожай, отличаются по характеру от горожан. Но разделения литературы на «деревенскую» и «городскую» нет, так же как нет и социального противопоставления их друг другу.

Но та часть русских писателей, которая пишет о людях и о проблемах села, занимает особое и очень важное место. Помоему, в других наших национальных литературах нет произведений такой силы о крестьянине, его заботах и жизненных проблемах, как в русской, хотя там есть и эта тема, и сходные проблемы, и боль, но они как бы рассыпаны по разным мешочкам. А чтобы было так сконцентрировано, как в «Прощании с Матерью» у Распутина, этого нет ни у украинцев, ни у литовцев, ни у киргизов.

И все же мы не называем это романом.

Почему?

Наверное, потому что еще не пришла пора. Я тут вовсе не защищаю русских товарищей — это смешно и не нужно. Лишь отмечаю факт.

Есть, скажем, литовская и латвийская литературы, близкие по языку, по традиции, по истории — по всему. Но сейчас все отмечают (и даже сами латышские коллеги в первую очередь), что латышская литература как бы в какой-то степени отстала от литовской. Почему так случилось? Может быть, потому что у них после войны были два таких великана, как Андрей Упит и Вилис Лацис. И писатели более младших поколений, следовавшие за ними, как бы оказались в их тени. Вроде бы надо писать, как они, и в то же время нельзя так писать. Лацис, к примеру, на 50 страницах описывает поездку крестьянина на мельницу. А у другого и одной страницы такого описания много.

В чисто литературном смысле наличие крупных авторитетов порой подавляет. И русская литература, имеющая таких великанов, как Пушкин, Толстой, Достоевский, может быть, как-то испытывает скованность перед их авторитетом.

Мы пришли в литературу после войны, нам было по 18 лет и у нас не было подавлявших нас хрестоматийных образцов, перед которыми следовало выстроиться в ряд и писать только так, как они. Думаю, смешно говорить, что каждому писателю надо быть самим собой. Но часто под этим понимается примитивная стилистика: у меня такие-то сравнения, такие-то описания... Но это всего лишь ремесло, самое малое, что требуется писателю.

А самое главное для писателя — иметь свое дыхание, свой подход. В конце концов все проблемы общие. Но в руках писателя, в его ладонях каждая проблема должна сделаться его личной, индивидуальной проблемой, должна проникнуться его запахом. Это, конечно, не дар, достающийся писателю с рождения, его надо развивать в себе.

И тогда литература создает свой мир, возникает то, что сейчас так широко делается в наших республиках. Это называют мифотворчеством, хотя и с этим термином следует обращаться очень осторожно. Мифотворчество — это мифы, то есть основные движения, основные правила человеческой жизни. Но многое вводится в литературу из фольклора, многое привносится из Библии. Мифотворчество означает сотворить миф свой собственный, которого не знали ни древние греки, ни те, кто создал Ветхий Завет. Создать то, чего не было, по-новому увидеть мир, доказать, что они были неправы, — вот задача писателя!

Конечно, такая задача не каждому писателю под силу. Но мы должны стремиться создавать многоэлементные полифонические произведения, обогащенные всем арсеналом литературных средств, потому что этого ждет от нас читатель.

Когда Айтматов создает легенду о людях, у которых отнимают память, сжимая обручем голову, — это прекрасно. Но вторую легенду мне лично уже принять трудно.

И думаю, причина этого в том, что мы живем в реальном времени и ждем ответов на его вопросы.

Повторю, достижения сегодняшней грузинской прозы очевидны, и не случайно наш «круглый стол» проводится здесь. Это самый верный адрес, потому что разговор о прозе должен вестись там, где есть хорошая проза. Но я думаю, что нужно сказать и о тех задачах, которые перед ней стоят, которые ей предстоит решать.

Обращаясь к грузинским писателям, хочу сказать, что им предстоит овладеть современной жизнью, действительно стать современными.

Вчера я ходил по Тбилиси и видел, что он живет жизнью современного динамичного, вполне европейского города, в кото-

ром нет ничего восточного. Именно это и есть черта жизни, а не тот акцент, с которым грузин говорит по-русски. Мне кажется, что в литературе еще недостаточно ощущается, что вы живете обычной человеческой жизнью сегодняшнего дня с его социальными и бытовыми проблемами. Это есть у Нодара Думбадзе, у Тамаза Чиладзе, читая повести которого я удивлялся, как это современно и просто, и мне уже не нужно было знать ни о царице Тамар, ни о других героях истории.

Современность — это основа литературы. Поэтому наш высший долг — каждый раз начинать от нее, как от печки, и уже потом могут идти и мифология, и интеллектуальность, и все остальное.

Доброта — это то, что нужно человеку от литературы, это основное человеческое качество, которое держит литературу и помогает ей выжить, несмотря на все атаки кино, телевидения и прочего.

Вадим КОЖИНОВ

РЕПЛИКА В СПОРЕ

Не могу сразу же не высказать несогласия с тем, что только что услышал. М. Слущикс сказал, что ему нравятся такие грузинские романы, читая которые можно ничего не знать и не думать об истории народа, о его своеобразии, поскольку народ сегодня живет иными интересами, современной жизнью. Более того, для него лично самым главным стало открытие, что Тбилиси — европейский город. Я не понимаю, почему слово «европейский» стало каким-то комплиментом. Почему европейский город должен быть единственным и безусловным идеалом для города любого народа? Я почему еще об этом говорю: сегодня я встал на рассвете и до начала заседания обошел более половины старого Тбилиси. Когда я вышел на площадь Алавердова, сел на скамеечку, то почти заплакал от восторга. Именно от того, что это неповторимый город, который для меня стал вестью какой-то долгой и своеобразной человеческой жизни. Это было видно в каждом доме, на каждом балконе, в каждом окошке. И тогда я пошел по кругу площади. И это было уже просто как какой-то подарок — я вдруг увидел, что дом, которым я любовался, зеленый, чрезвычайно своеобразный дом, затейливый — оказывается, в этом доме в 1837 году жил Лермонтов. Это было сильное потрясение..

Раз уж я взял слово, хочу разъяснить свою позицию в том, что, опираясь на Гегеля, мы можем назвать приключенчеством

Вот здесь на глазах разыгрался спор. Чабуа Амирэджиби очень высоко оценил прозу Василя Быкова и сказал, что его поражает, как на такой небольшой площадке разворачивается такое напряженное действие, в котором участвуют несколько человек, и это действие дает нам почувствовать то, что сам Быков назвал человеческой жизнью и смертью. Когда я говорил о том, что назвал приключенчеством (может быть, это неточный термин), то просто сослался на классический термин, это термин Гегеля.

В своем выступлении Василь Быков говорил, имея в виду эту тему, поставленную мной и продолженную Чабуа Амирэджиби, что да, конечно, мы должны думать о занимательности тоже. Я же говорил о том, что составляет самую суть повествования Василя Быкова, где действительно выступает человек во всей его глубине, во всем его размахе.

Когда я говорил о приключенчестве, то думал, что эта стихия эстетическая в самом открытом, обнаженном виде воплощена в Дон-Кихоте и Гамлете. Потому что Гамлет — это действительно сплошное приключение, говорящее о жизни и смерти, в другом совершенно виде, поскольку это другая эпоха художественного развития человечества.

Упомянутая мной острота событий совершенно необязательно воплощается в каких-то поступках. Она воплощается в словах, потому что слово тоже поступок. Говоря же о том, чего мне не хватает во многих современных романах, я имею в виду то, что люди просто излагают свои мысли по какому-то поводу. Думаю, что на этом пути нельзя одержать художественной победы, что в основе всего все-таки должно быть напряженное действие, которое, кстати, невозможно без вымысла.

Мной эти два момента неразрывно связаны. А сейчас очень многие романы лишены и вымысла, и действия, того самого приключенчества, о котором я говорил. Я был очень удивлен, когда этот вопрос начали сводить к простой занимательности. Вопрос занимательности — это другой вопрос, который многих волновал, того же Достоевского, говорившего о необходимости того, чтобы читатель был увлечен. Кстати, Г. Бакланов в своем выступлении спорил со мной, не называя меня, но все произведения, которые он как бы противопоставлял моему тезису, опять-таки насквозь проникнуты приключенчеством. Он назвал здесь «Калину красную». Разумеется, здесь все построено на напряженном, остром действии, даже есть моменты детектива. Просто там герой иной.

Он говорил о гоголевской «Шинели». На самом деле это грандиозное произведение, грандиозное приключение. Эта вещь, конечно, перекликается с «Медным всадником». Она создает фантастическую атмосферу Петербурга, в которой может произойти все, что угодно.

И, наконец, Андрей Битов упомянул здесь действительно прекрасный роман Домбровского, который весь пропитан этой атмосферой. Мы на каждой странице как бы испытываем ожог от этой напряженной и острой атмосферы, в которой, собственно, и развивается мысль писателя. Именно в ней, а не в каких-то побочных рассуждениях, говоря о новой приливной волне в романе, которая сейчас, очевидно, началась, мы вправе ждать открытий.

Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ,
критик (Тбилиси)

ВЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Начну со спора с самим собой.

В 60-е и последующие годы я, как и многие другие критики, тоже писал, и много писал, о новизне прозы, в частности романов тех писателей, которые сейчас совершенно заслуженно уже стали и известными, и видными, и значительными. То новое, что они привнесли сравнительно с советской литературой предыдущих десятилетий, это и очевидно, и известно, и многократно отмечено критикой.

Но постепенно я все лучше осмыслял глубину на первый взгляд парадоксальной фразы Поля Валери, смысл которой приблизительно таков: «Ничто так быстро не стареет, как новизна». И мне показалось, что мы слишком увлеклись поисками настоячивыми и довольно часто ложными, тех новшеств, которые нас пленяли и ослепляли.

Сергей Чупринин, высказавший здесь много умных соображений и тонких замечаний, говорил и о «ремаркизме» и «хемигуэизме», которыми довольно ощутимо страдала и грузинская проза конца 50-х, начала 60-х годов. Отдавая дань этим значительным именам, сейчас уже можно утверждать, что такая «новизна», поверхностное подражательство было болезнью моды.

Но кое-что еще, достойное если не забвения, то во всяком случае переосмысления, и сейчас бытует в наших представлениях. Здесь говорилось о том, что современный роман по объему дол-

жен быть маленьким. В качестве примера назывались романы Нодара Думбадзе, Гурама Панджикидзе, Тамаза Чиладзе, Арчила Сулакаури. Еще более убедительны в этом отношении во многом значительные романы эстонского писателя Энна Ратемаа, который прямо так и назвал их «маленькие романы». Говорилось и о таких признаках «нового» романа, как емкость фразы, внутренний монолог, динамичность развития сюжета, насыщенность диалогов, пренебрежение к описательности и так далее. Но разве для нас, грузин, да и для других тоже, одним из лучших образцов этого не является роман, который написан Цуртавели ровно 1500 лет тому назад?

Вот почему мне кажется, что мы больше внимания должны уделять выяснению преемственности современной прозы, наряду с тем действительно новым, что ей присуще.

Новое, конечно же, присуще и стилевым особенностям, и художественным приемам, и композиционному построению романа, и многому другому, что мы относим к сфере формы. Но главная, значительная, явно ощутимая новизна, которая характерна для современной литературы, — это новизна, привнесенная видением писателя, его мировоззрением и мироощущением. Современные проблемы, сегодняшние для писателя боли и радости, раздумья и переживания, горечь и чаяния людей, народа, страны, вселенной — вот что определяет в основном новизну литературы, а потом уже и построение фразы или всего романа, и своеобразие метафоры, и столь облюбованная нами ассоциативность художественного мышления, и многое другое.

Здесь я позволю себе поспорить с С. Чуприниным, не согласиться с ним, когда он, на мой взгляд, несколько пренебрежительно говорил о «выражении лица, наваянном днем убегающим». Я понимаю, догадываюсь, против какой литературы он ополчился, но тем же «днем убегающим» были наваяны и все бессмертные произведения. И тот же роман Цуртавели, который вот уже 1500 лет живет, поучая и волнуя нас, и тот же роман в стихах Пушкина, чье светлое имя не раз упоминалось и за этим «круглым столом». Вот почему для меня все более приемлемым становится призыв моего русского коллеги и моего сверстника Станислава Рассадина, брошенный им еще в молодости: «Вперед к Пушкину!»

В одном из выступлений была высказана мысль, что правда сузила кругозор писателей, привела к утрате культуры вымысла. И в этом, видимо, нам следует быть более осторожными. Я отношу этот упрек в адрес описательной романистики, так наводившей нашу литературу, но и здесь требуется уточнение. Прав-

да и только правда питает любую настоящую литературу, и не она сужает кругозор писателей, а узкий кругозор самих писателей не может поднять ее до уровня настоящей художественной литературы.

Мне кажется, что стремление к условности, к вымыслу не реже приводит к плачевным результатам, чем отрешение от них. Уж больших выдумщиков, чем не раз упомянутые здесь Отар Чиладзе и Чабуа Амирэджиби, трудно представить. Они настоящие мастера и своими вымыслами несут читателям большую художественную правду. Я считаю справедливым, даже необходимым здесь же назвать и роман «Лука» Арчила Сулакаури, также построенный на древних мифах.

Вы можете удивиться, а какие еще бывают мифы, кроме древних? Оказывается, бывают. Сейчас так модно стало обращаться к мифам, что этот богатый арсенал оскудел и, например, Чабуа Амирэджиби пришлось самому выдумать миф и потом уж положить его в основу своего же романа. Честно говоря, я даже стал побаиваться подобной литературы, будь она мифотворческого характера или же «синтетического», или «синтезного», ибо и она благодаря многочисленным слепым приверженцам моды профанируется. И, думаю, глубоко прав был Вадим Кожинов, когда так строго отнесся к так называемому «синтезному» роману.

Здесь же хочу добавить, что и мы, писатели и критики, имеем полное право пылать любовью к произведениям того или иного склада или характера, но при всем при том обязаны отдавать должное всему истинно художественному и значительному, каким бы разным оно ни было.

Для меня лично одинаково интересны и значительны такие совершенно разные писатели, как Джон Апдайк и Трумен Капоте, Михаил Булгаков и Василь Быков, Чингиз Айтматов и Валентин Распутин, Отар Чиладзе и Тамаз Чиладзе, Нодар Думбадзе и Гурам Панджикидзе. Перечень можно еще долго продолжать. И мне, честно говоря, досадно, когда, по каким бы причинам это ни происходило, не воздается должное писателю. Глубоко уверен, что такие замечательные грузинские мастера романа и рассказа со своим удивительным и ярко очерченным творческим миром, как Арчил Сулакаури, Тамаз Чиладзе, Резо Инанишвили и некоторые другие, будут по достоинству оценены не только грузинскими читателями. Я не хочу сказать, что они обижены судьбой, нет, их переводят и издают на многих языках в нашей стране и за рубежом. Но если они еще не попали в обоймы нашего критического оружия, не стали советскими

бестселлерами, то не потому что у них не хватает или взрывчатой силы, или внутренней красоты, а лишь потому, что они, может быть, если можно так выразиться, внешне не эффектны. Вкус к таким произведениям читателям надо прививать, и это задача наша, критики.

В связи с этим еще об одном.

Здесь говорили об очень важном для всех нас вопросе — как заинтересовать читателей. Вадим Кожин и Чабуа Амирэджиби страстно пропагандировали для этой цели приключенческий заряд. В этом есть резон. Это действительно надежная приманка. Пример тому — роман самого Амирэджиби, который благодаря злоключениям героя, острому, напряженному сюжетному развитию, блестящим вставным притчам, то есть благодаря «приманкам», заставляет читателя вместе с ними проглотить, принять и глубокие мысли, раздумья автора, даже заставляет нас не замечать, закрывать глаза на те недостатки (некоторые длиноты, пространные и в сущности лишние рассуждения), которые, честно говоря, присущи роману, особенно грузинскому варианту; так что это действительно хороший способ для того, чтобы заинтересовать читателя. Но не столь чудодейственный и единственный, как здесь его пытались представить. Конечно же, вряд ли, обратившись к приключениям авантюриста Феликса Круля, Томас Манн хотел зачеркнуть этим свои социальные и философские романы или хотя бы поставить свое новое произведение над «Доктором Фаустусом».

Я думаю, прав был Василий Быков, когда в связи с приключенческим зарядом говорил о необходимости чувства меры, осторожности.

Полагаю, к «приманкам» надо относиться с большой осторожностью. Уж очень неразборчиво стали нынче их применять. И не только в литературе.

Всем хорошо известны успехи театра имени Руставели, завоевавшего всемирное признание. Этому во многом способствовал не только талант режиссера-интерпретатора, но и талант режиссера-постановщика Роберта Стуруа. Однако пристрастие к зрелищности, чрезмерное увлечение ею даже этого замечательного мастера, наверное, увело в сторону при постановке психологической драмы Тамаза Чиладзе «Роль для начинающей актрисы». Многие другие режиссеры теперь из кожи вон лезут, чтобы превзойти в выдумке Стуруа, и в результате порой театр теряет свое лицо. Драматический театр при всем своем многообразии и зрелищности должен оставаться драматическим театром. И литература при всем своем многообразии должна оставаться

литературой, а не развлекательным чтивом. И моя убедительная просьба к вам, дорогие писатели, не опускайтесь до родных или чужеземных безвкусных читателей, тяните их самих в высокий и мудрый мир настоящей литературы.

Сергей ЧУПРИНИН

РЕПЛИКА В СПОРЕ

К каждому из участников нашего разговора современный роман поворачивался своей, особенной гранью, новым качеством. Это и естественно, так как сила зрелой словесности именно в многообразии и нестандартности творческих решений. Самое важное для критика — это удержаться от соблазна объявить единственно верным только один какой-нибудь путь, один какой-либо образец, не пытаться открыть все двери универсальной «отмычкой» — будь то «отмычка» приключенчества, рекламируемая В. Кожинным, документализма, как полагали многие в 60-е годы, или, к примеру, модной ныне мифологичности. Не романист уже (он-то здесь ни при чем), а именно критик напоминает порою того шахматиста, который берется выиграть партию только «ходом коня», а потому сбрасывает с доски все остальные фигуры.

Снявуш МАМЕД-ЗАДЕ,
поэт (Баку)

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОКИ

Многие из выступавших за «круглым столом» отметили, что настоящее литературное произведение, и тем более роман, в силах одолеть самые высокие вершины лишь при условии, что оно питается живительными родниками народного творчества.

Я думаю, что в этом ряду могут стоять многие произведения азербайджанской прозы. Назову в качестве примера роман «Буйная Кура» Исмаила Шихлы. Кстати, мне приятно поделиться радостью, что этот роман звучал по-грузински. Что нового привнес этот роман хотя бы в обрисовку героев? Раньше мы однозначно показывали представителей господствующего класса — если это бек или хан, то это значит, что он на 100 процентов злодей. Это была привычная схема, стереотип. И хорошо, что

литература освобождается от этой инерции мышления и идет вглубь психологии.

Андар-ага, с одной стороны, конечно угнетатель. Вместе с тем в нем есть черты, которые не могут не вызывать симпатии у читателя. Он мужественен, радуется за народ, конечно, по своей классовой мерке, пока это не затрагивает его интересов.

Вместе с тем интересен конфликт этого человека с духовенством, со служителями культа. Обычно мы их видим идущими рука об руку, дружно притесняющими народ. Здесь несколько иначе. Опровержение схемы помогает четкой индивидуализации характера, без чего любое произведение искусства затеряется в общем потоке подобных писаний.

Продолжая тему «фольклор и роман», я должен согласиться с Георгием Мерквиладзе, что обращение к фольклорному мифу — не самоцель, не погоня за экзотикой; оно преследует вполне современные цели. У Анара — известного азербайджанского прозаика — есть современная трансформация нашего древнего эпоса. Лайош Мештерхази по-современному прочел миф о Прометее. Все это ответы на очень важный вопрос о духовных корнях, о самосознании человека, о его исторической памяти.

Здесь высказывались различные мнения о действенности как важном элементе прозы. Произносились разные слова: приключенческое начало, сюжет, динамизм... В той или иной степени единодушными оказались Ч. Амиреджиби, В. Кожин, Г. Гвердцители, П. Шермухамедов, который напомнил восклицание Аннинского, жаждущего беллетризма. Несколько иную позицию занимает В. Мартинкус, если я его правильно понял. Он отстаивал право литературы и на другие решения, употребив такое, по моему, точное выражение, как внутренний динамизм. Я не призываю к снобистскому пренебрежению сюжетом, о котором здесь говорил Кожин, но монополизировать тот или иной путь не стоит. В каждом случае все решают конкретная художественная задача, жизненный материал и индивидуальность автора.

Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,
критик (Тбилиси)

РЕПЛИКА В СПОРЕ — О БЕССПОРНОМ

Примерно четверть века назад на страницах «Литературной газеты», а затем и «Литературной Грузии» мне довелось выступить со статьями, которые назывались «Уважать индивидуальность писателя», «Оно — лицо, а не флюгер», «Человек и эпоха», «Серьезное дело — искусство». Дело не в моих именно

статьях, а в том, что волновавшие нас тогда проблемы волнуют нас и сейчас. Они существовали и зародились в иной форме, в ином виде на материале рубежа 50—60-х годов, существуют или возродились они и сейчас. Тогда некоторые новые, необычные по природе своей (и по сути, и по форме) произведения, были ли это грузинские («На мели» Отара Чхеидзе, «Волны стремятся к берегу» Арчила Сулакаури, «Тайный голос» Реваза Джапаридзе, «Клад» Демны Шенгелая) или русские («Сентиментальный роман» Веры Пановой, «Суд» Владимира Тендрякова, некоторые молодежные повести, «Треугольная груша» Андрея Вознесенского, стихи Е. Евтушенко и Б. Ахмадулиной), вызвали, мягко говоря, недоумение и непонимание. Об этом я и писал в упомянутых статьях. Ряд произведений тогда же пришлось защищать от нападков (далеко не всегда невинных) на разного рода публичных дискуссиях и обсуждениях (скажем, «Цирк» и «Шапку, полную дэвов» Отара Чиладзе). Трудно сейчас в это поверить, но даже «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе было встречено иными авторитетами скептически и даже враждебно. А это одна из классических теперь вещей, открывших новую страницу грузинской прозы, и не только прозы. Эти и другие произведения той переломной поры подготовили нынешнюю глубину и многообразие советской литературы.

Но произведения эти вызывали недоумение именно своей новизной, расширением рамок канонического реализма, раскрепощенностью повествования, в одном случае, и условностью, обобщенностью, фантастичностью, метафоричностью образного мышления, в другом. Упреки, разумеется, были густо замешаны и на идейных претензиях.

Сергей Чупринин говорил о движении к синтезу, естественно помянув прекрасную книгу Евгения Сидорова. Я это воспринял не только как разговор о синтезе жанров или каких-то форм. И это вполне закономерно (и не ново для разных периодов в истории любой литературы); но за этим, я уверен, подразумевался синтез и каких-то иных — глубинных — духовных, нравственных, этических, жизненных пластов, их органическое совмещение в разной форме и разными приемами, вплоть до фантастики, метафористики или иной поэтической условности, в рамках единого произведения. Ведь в этом смысле проза никогда не боялась и не чуждалась поэзии, так же как поэзия прозы. А синтез духовно-нравственных и жизненных пластов, совмещенный с глубиной анализа и выступающий в необходимых в каждом конкретном случае обличиях, действительно является характерной чертой развития сегодняшней литературы. Миф, сказание, легенда,

притча, метафора, фантастическая условность, «неправдоподобность» видения или восприятия, даже заблуждения, легшие в основу сюжетной линии, добрососедствуют с пластами наиреальнейшего повествования и описания. Это не исключает, а предполагает наличие, может быть даже преобладающее количественно, произведений, воплощенных в локально-реалистической форме. Такова ныне проза Р. Джапаридзе, Р. Инанишвили, Р. Чейшвили, В. Распутина, Ф. Абрамова, Ю. Трифонова, Д. Гранина, А. Крона, И. Грековой, М. Рощина. Но уже «Закон вечности» Н. Думбадзе или «Происшествие из жизни Махонина» Николая Евдокимова требуют иного подхода и ключа. И, скажем, исторические романы Григола Абашидзе и Реваза Джапаридзе — явления совершенно иного порядка, чем, казалось бы, исторические романы Отара Чиладзе и Чабуа Амирэджиби. Но ни по жанровым, ни по иным признакам мы не можем положить на одну полку вещи Отара Чхендзе, Арчила Сулакаури, Гурама Панджикидзе, Тамаза Чиладзе, Гурама Дочанашвили, Георгия Цицишвили. А какую полочку отвести «Святому колодцу» и «Кубику» В. Катаева, ряду повестей и рассказов Ю. Нагибина, романам Б. Окуджава, «Альтисту Данилову» В. Орлова, роману Ч. Айтматова «И дольше века длится день»?

А, скажем, такие популярные структуры, как «поток сознания» и гротеск, которые мы еще недавно отдавали на откуп «модернизму», а теперь правомерно включили в арсенал социалистического реализма как открытой эстетической системы? А говоря о многонациональной советской литературе, мы же не вправе обойти специфику некоторых из наших литератур, где в эпическом жанре границы реализма и романтики, жизнеподобия и фантастики несколько сдвинуты, имеет место и своего рода диффузия их, что для наглядности можно было бы проиллюстрировать примерами из смежного искусства — кинематографа — скажем, некоторыми фильмами Тенгиза Абуладзе и Юрия Ильенко. Вот вам синтетическое искусство.

Под синтезом следует подразумевать и синтез временных пластов с целью определения духовно-нравственного генезиса и развития персонажа. Такая задача стояла, скажем, и перед Д. Граниным в «Картине», и перед Ю. Трифоновым в «Старике».

Я назвал вещи буквально наугад или же те, что на слуху. Ряд или ряды можно длить. И картина многообразия будет выступать все ярче и богаче. Главное — и бурение стало глубже, и пласты, ему подвластные, все разнообразнее. Укрепились нравственно-этические основы литературы. Писатель добывает истину сам, без шпаргалок. А в какой форме он нам ее подаст —

это тоже его самодержавная воля, и не Георгию, скажем, Машвили эту болю оспаривать. Мы можем судить лишь о результате, но он никогда не был гарантирован ни в реалистически-бытовой, ни в фантастически-условной составной «синтеза». Вопросы же вкуса, кому что по душе или наоборот — в данном случае во внимание не должны приниматься. Речь идет о принципах, а не о вкусах.

Поэтому меня весьма удивило, когда наш друг Вадим Кожинов с таким пафосом ополчился против элементов фантастики в жанре романа (речь идет, конечно, не о научно-фантастическом романе, а о вымысле, выходящем за рамки жизненного правдоподобия) и с этой точки зрения возражал Сергею Чупринину и другим. Синтетический роман — это заведомо посредственный роман, — утверждает В. Кожинов. Но тут же, говоря о романе Айтматова, он противоречит себе, ибо если стремление к синтезу заведомо обрекает на неудачу, то уже независимо от того, удался ли Айтматову фантастический план романа, он заведомо был обречен на неудачу или на посредственность результата. Далее, комментируя в этом же плане пушкинскую строку «над вымыслом слезами обольюсь» и возражая Чупринину, Кожинов утверждает, что Пушкин под вымыслом совершенно не имел в виду какой-либо фантастики, что вымысел для него были Татьяна, Онегин, Ленский, капитанская дочка. Позвольте, а как быть с «Медным всадником», «Каменным гостем», «Египетскими ночами»? А кроме этого «Демон» и «Мцыри», творения Байрона, Гете, Данте, Руставели? В случае с «Царь-рыбой» В. Астафьева Кожинов находит выход в признании, что он верит в достоверность фантастического вымысла. А в случае с Медным всадником не верит? А в Демона и Манфреда, Мефистофеля и Калужетскую крепость, в Нос и булгаковскую Маргариту? И куда вообще приткнуть «Петербургские повести» и «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Ну, хорошо, Кожинов приемлет миф и народную легенду, но ведь к этому не сводится то, о чем мы говорим?

Далее Кожинов переходит к понятию приключенчества в романе, даже ссылается на Гегеля, справедливо хвалит Чабуа Амрэджиби за приключенческий сюжет и утверждает, что без этого, без напряженного «сюжетного действия», роман вообще невозможен. К остросюжетным произведениям, наполненным стихией приключенчества, Кожинов относит все романы Толстого и Достоевского, «Тихий Дон» и «Мастера и Маргариту» (как бы забывая, что явный «синтетизм» сюжета романа Булгакова противоречит «антисинтетизму» его исходных установок). Не будем

придираться к терминам, если они так широко толкуются, но ведь реальная практика романа раздвигает даже эти рамки! Мы уже говорили о романе «потока сознания» — начиная с Пруста и Джойса, и ведь кроме презираемого Кожиновым «искусственного стремления к синтетичности и интеллектуальности» можно обнаружить в литературе и естественное, органическое, оправданное, закономерное стремление к этим приемам и жанрам? Кстати, как быть с Воннегутом или Маркесом?

Второе выступление Кожинова во многом противоречило первому. Он дал там такие уточнения и толкования, которые сделали «безразмерными» его исходные критерии. Он уже стал говорить о том, что события необязательно могут воплощаться в поступках, потому что слово тоже поступок. Так недалеко и до признания т. н. «интеллектуального» романа, против которого Кожинов ополчился, хотя я не очень понимаю, что он имел в виду, т. е. какие именно произведения.

Евгений КРИВИЦКИЙ,
заместитель главного редактора «Литературной
газеты» (Москва)

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Хотелось бы коснуться нескольких тем и вопросов, прозвучавших в ходе обсуждения за «круглым столом», поделиться своими впечатлениями.

Что мне больше всего понравилось? Это требовательность, самокритичность, прозвучавшие у выступавших по отношению как к произведениям своих национальных литератур, так и к нашей большой многонациональной советской литературе. Правда, порой эта требовательность выходила за грань объективности. Так, к примеру, мне трудно согласиться с теми серьезными обвинениями, которые предъявил В. Крупин некоторым современным русским романам.

Так же, наряду со справедливыми соображениями по поводу современного состояния украинского романа, высказанными Н. Жулинским, некоторые его положения представляются полемическими преувеличениями.

Все мы дружно хвалили современный грузинский роман. В самом деле, это сейчас один из самых сильных отрядов нашей многонациональной романистики, а может быть, и в мировой литературе. И все-таки, в интересах дела прозвучали слова Гурама

Гвердцители, трезвые и заинтересованные слова читателя и человека, равнодушного к судьбам писателей, о которых он говорил, о перспективе их дальнейшего роста.

Такой подход всегда полезен и перспективен.

Порой, когда критики либо писатели говорят о современной литературе, они зачастую бывают настороженно односторонни. Этот соблазн односторонности мне почудился и в выступлении В. Кожина. Это прекрасно, что было вспомнито понятие приключенчества. Действительно, фактически каждое замечательное произведение мировой литературы, русской литературы, грузинской литературы, всех наших национальных литератур можно было бы определить как приключенческое, как авантюрное: острый сюжет, динамичное развитие, острые коллизии. Но с таким же успехом все или почти все замечательные произведения мировой литературы — и старые и новые — можно было бы определить как интеллектуальные.

Очень соблазняет мысль найти единственное слово, которое сразу все определяет и сразу все характеризует. Скажем, по отношению к роману «Дата Туташхиа». Роман приключенский? Безусловно. Но с таким же основанием это роман интеллектуальный, этнографический, исторический, легендарный и какой угодно. Если бы автору хотелось достигнуть только этой авантюристичности, этого приключенчества, то, я думаю, он мог вполне дать однолинейное повествование и написать роман о благородном разбойнике. Наверное, не случайно Амирэджиби не дал такого однолинейного повествования, а осуществил попытку нарисовать Дату Туташхиа глазами несчетного количества других героев. Я думаю, этот роман сильно обеднел бы, если бы в нем не было графа Сегедя, человека, с которым не связано никакое авантюристичное, приключенческое начало, а связано начало как раз интеллектуальное, осмысляющее.

Периодически у нас возникает то или иное «магическое» слово. Значительная часть писателей, критиков, уверовав в магию этого слова, пускалась то в одном, то в другом направлении. Таким словом на рубеже 50—60-х годов было слово «лиризм». Потом все или почти все соблазнились «документализмом», «мифологизмом». Если авторы не устоят перед соблазном приключенчества, то, думаю, такое повальное увлечение не принесет успеха.

Мне хочется поддержать С. Мамед-заде, который сказал, что не стоит монополизировать тот или иной путь. Поддержать Г. Бакланова, возражавшего критикам, полагающим, что золотые яблоки могут расти только на каком-то одном суку дерева.

И второй момент, опять же связанный с выступлениями

В. Кожина и М. Слуцкиса, который сказал, что современный романист не вправе закрывать глаза на современный мир, современное состояние человека.

Замечательно будет, если современный романист покажет в своем герое грузина, либо русского, либо татарина. Но будет плохо, если он в этих героях не увидит советского человека, не увидит современного человека. Здесь открывается опасность провинциализма. В чем провинциализм, на мой взгляд, в чем эта опасность? В обрубании многочисленных связей, связывающих художественную реальность и героя, художественную реальность со всем миром и своим временем. Это понятие далеко не географическое. Наиболее провинциальной представляется наша современная производственная литература, производственная проза, которая об инженере рассказывает как об инженере, о трактористе рассказывает как о трактористе. Но это не только тракторист, это еще человек той или иной национальности, той или иной национальной культуры, это человек нашего XX века, 70—80-х годов, это человек планеты Земля.

Мне кажется, важнейшей заслугой, важнейшим достижением нашей современной романистики, нашей современной прозы и литературы в целом является как раз восстановление огромного количества связей, может быть, бесчисленного их количества, которые соединяют художественную реальность со всем миром, со своим временем. И только на этих путях возможно достижение художественной правды.

Гурам АСАТИАНИ

О ГРУЗИНСКОМ

ОПЫТЫ (НЕСКОЛЬКО ПОПЫТОК) ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОГО, КАК В ЛИТЕРАТУРЕ И В УСТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ГРУЗИНСКОГО НАРОДА ВЫРАЗИЛИСЬ ЕГО ХАРАКТЕР И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ МИРА

К ЧИТАТЕЛЯМ РУССКОГО ПЕРЕВОДА

ЗАВЕРШАЮЩАЯ часть этих «Опытов» уже была напечатана (на грузинском языке) в газете «Литературули Сакартвело», когда в «Новом мире» (1980, № 3) появились «Заметки о русском» академика Д. С. Лихачева. А через несколько месяцев автор этих строк, выступая в столице Литвы за круглым столом «Литературной газеты», счел нужным напомнить присутствующим о важности и актуальности публикации «Нового мира».

«Мне видится в ней, — сказал он, — потребность времени. Хочется надеяться, что такие изыскания ведутся и в других национальных культурах. Правда, не многие из нас знают свою литературу и свою культуру так, как знает русскую Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Выступление крупного советского ученого я воспринимаю как своеобразный клич и даже как вызов в самом хорошем, рыцарском смысле этого слова представителям всей нашей многонациональной культуры. Ведь главный наш пафос, когда мы касаемся этих проблем, должен быть не в том, чтобы доказывать правомерность и необходимость национальных культур. Это, по моему, уже пройденный этап. Сегодня следует говорить о другом, более актуальном и знаменательном явлении; оно заключается в том, что советская многонациональная литература состоит из частей, которым свойственны многообразие и многосложность. В этом признак их культурной ценности. Потому что своеобразие хотя и замечательное свойство, но оно возможно и на перзобытном уров-

Эта последняя работа Гурама Асатиани была опубликована на грузинском языке под названием «У истоков».

не, тогда как внутреннее многообразие — свидетельство развитой духовной жизни».

Извинившись перед читателем за столь пространную самоцитацию (по отчету «Л. Г.»), хочу наконец признаться, что именно знакомство с «Заметками...» Д. С. Лихачева, в которых, кстати, целый пассаж посвящен национальным особенностям грузинской культуры, толкнуло меня на столь рискованный шаг — опубликовать на русском языке свою работу.

* * *

ЖИЗНЬ многообразна...

Когда вдумываешься в содержание этих довольно истертых нами слов, сначала становится радостно, потом как-то смутно, тревожно. Ведь с единообразием гораздо спокойнее. Все тут подчинено ясной логике, правилам, порядку.

И все-таки, думается, именно в многообразии (если, конечно, это не хаос) заключается эстетическое оправдание бытия.

Существование каждой национальной литературы (вообще культуры), видимо, тоже оправдано ее самобытностью, единственностью, незаменимостью. Если она не привносит ничего собственного в общий процесс духовного развития человечества, то зачем ей вообще существовать отдельно?

О своеобразии грузинской литературы, о ее месте в этом всемирном процессе сказано немало. Некоторые суждения убеждают своей безупречной доказательностью, иные ошеломляюще парадоксальны. Но и в парадоксах порой содержится доля правды.

Начнем с наиболее фундаментальных суждений.

Всем известны знаменитые слова, сказанные в конце прошлого столетия:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
и с мест они не сойдут ¹,
пока не предстанет Небо с Землей
на Страшный господень суд.

Кажущаяся аксиоматичность этой сентенции Редьярда Киплинга, в которой выразилось предубеждение целой эпохи, неоднократно опровергалась в наше время ², в частности, его же соотечественниками.

¹ Ближе к оригиналу будет: «И они никогда не сойдутся».

² Особый интерес представляет в этом смысле книга Б. Роуланда «Искусство Запада и Востока», в которой освещены ранее неисследованные аспекты взаимоотношений двух культурных миров.

Английский ученый Морис Боура в своем капитальном труде о культурных традициях Запада и Востока, озаглавленном «Поэзия и вдохновение» (часть этого труда была опубликована в советской печати) пишет:

«Витязь в барсовой шкуре» — грузинское произведение, с которого одинаково обозреваются и Запад и Восток, и при всем том национальный характер в нем сохранен неискаженным».

Нужны ли к этим словам комментарии? На мой взгляд, нужны, ибо если в отношении Запада сегодня почти все единодушны, то вопрос о Востоке вызывает глубокие разногласия.

Бытует мнение, что все восточное в корне чуждо нам, навязано силой, и это насильственное влияние лишь уродовало и уродует суть грузинской культуры.

Восток в действительности приложил немало усилий для того, чтобы лишить нас национального, грузинского. Существуют сами по себе, вероятно, совершенные атрибуты восточного феномена, которые в нашем представлении зафиксированы лишь как ущербные или злоторные.

Да, многое мы утратили по милости «машрикцев»¹.

И все-таки тот же Восток дал нам немало. Не будем скрывать: приобрели мы и кое-какие предосудительные качества, но значительно больше по-настоящему ценных, обогащающих. И, что наиболее важно, грузинский художественный гений сумел настолько своеобразно переплавить приобретенное, что в этом сплаве не были утеряны его собственные первоначальные черты. Сегодня восточный пласт — составная часть всей нашей культуры, настолько тесно спаянная с ее живой материей, что порой практически невозможно определить четкую границу между первичным и приобретенным.

В этом легко констатируемом факте сыграло роль одно обстоятельство психологического порядка. Когда перед тобой враг, стремящийся поработить и уничтожить тебя, то, несомненно, все, имеющее отношение к нему, представляется тебе ненавистным — не только оружие, которым он убивает или пытается тебя, но и облик его, обычаи, язык, песни, одежда и т. д. Между тем враг, как и всякое живое создание, не существует в чистом виде; во-первых, он мог прежде и не быть твоим врагом (возможно, когда-то даже дружил с тобой или являлся достойным соперником), во-вторых, допустимо, что, уже став твоим врагом,

¹ Машрик — старинное обозначение Востока.

он с течением времени приноровился к тебе и даже сблизился с тобой настолько, что у вас появились многочисленные связи. Объективно каждый представитель вражеского лагеря остается частью враждебной силы, но поскольку он в то же время и живое существо, то невольно проявляет и множество «дополнительных», субъективных особенностей. Завоеватель становится «своим человеком», порой даже слугой поработанного, печется о его благе, старается сделать его жизнь приятной и так далее.

«Часть» иногда забывает о своем происхождении и, попав в другую среду, в окружение другого целого, постепенно теряет свои изначальные свойства, приобретая необходимый для нового своего бытия облик.

Именно эти видоизмененные «части» или «частицы» и вносят в новую обстановку элементы, которые со временем внедряются в нее, хотя и в существенно трансформированном, но все-таки отличном от нового контекста виде.

Мотив «старого Тбилиси» с его уникальным колоритом — классический образец органического вращивания такого видоизмененного притока в новое единство. Правда, этот мотив не раз был профанирован литературными лубочниками (особенно в нашем столетии), но в свое время, блеснув в руках настоящих мастеров, он придавал дополнительную окраску непростой гамме грузинского национального характера.

Влияние восточной культуры, понятно, прокладывало пути и с помощью адептов более высокого ранга («старый Тбилиси» в этом смысле — как бы низкословный, «плебейский» вариант отмеченного влияния).

Так или иначе, исконное влечение к «европеизму»¹, западная ориентация (вполне естественная и исторически закреплённая принятием христианской веры уже в IV веке н. э.) не должны препятствовать нам замечать то, что на протяжении веков интенсивно привносилось в нашу культурную жизнь с противоположной стороны.

Одно примечательное обстоятельство. По сравнению с «чистокровными азиатами» мы, разумеется, европейцы, но при непосредственном контакте с последними сразу обнаруживаем, что в нас есть и кое-что отличное от них, не только сугубо грузинское, абсолютно самобытное, но и более общего вневропейского происхождения.

Мы порой стесняемся этого и стремимся всегда выглядеть и

¹ Термин, введенный в грузинскую литературу Ильей Чавчавадзе.

поступать так, как это привычно европейцам. В действительности же мы тем самым не очищаемся от «чуждого», а лишь обедняем себя. Забываем, что от Востока мы получили в наследство не только множество неприглядных черт «азиатского» быта и характера (что, к сожалению, проявляется порой и в отсутствии целого ряда элементарных признаков цивилизованности), но и кое-что по-настоящему ценное. Не следует забывать о потерях, но нужно помнить также, что вместе с тем, претерпев все эти вопиющие убытки и изъятия, мы вольно или невольно, соприкоснувшись с великой культурой Востока, впитали в себя не одно истинное ее достижение.

И, что важнее всего, сама наша природа, наш темперамент, эмоциональный склад, а также присущие нам конкретные формы художественного самоутверждения (даже если б мы не испытали никакого насилия со стороны магометанского мира) не могли быть сугубо западными.

Одним словом, по моему глубокому убеждению, слияние восточного и западного — в природе самого грузинского национального характера, и в синтезе этом содержится в основном ключ к нему и его объяснение.

В разные времена у нас были как «западные», так и «восточные» поэты, а в политике — деятели западной и восточной ориентации, однако во всех случаях доминанта одного начала ни в коей мере не исключала полностью действия второго.

К примеру, Теймураз I был в основном поэтом восточной школы, но разве мало в его творчестве элементов западной христианской культуры и европейского миропонимания?

С другой стороны, Сулхан-Саба Орбелиани, писатель ярко выраженной западной ориентации, всем творчеством своим весьма обязан восточным мотивам.

В лирике же самого верного последователя восточной поэзии и (с этой точки зрения) самого большого виртуоза — Бесики ясно выражены элементы как античной, так и христианской культуры.

В девятнадцатом веке почти такая же картина. Не говоря уже об Ал. Чавчавадзе, который в этом смысле стоит на самом рубеже запада и востока, или о Гр. Орбелиани, который с одинаковым увлечением писал как чувственные мухамбази, так и вдохновленные библейскими псалмами элегии, достаточно вспомнить, что даже Бараташвили, самый рафинированный представитель грузинского европеизма, любимым певцом своим называет тбилисского ашуга Сатара и искренне восхищается в Гандже байятами Гонджи-Бегюм.

Восточное и западное начала в грузинской литературе, правда, ведут борьбу меж собой — преобладает то одно, то другое, но никогда преимущественное начало фактически не уничтожает, не «упраздняет» побежденное. Чаше всего начала эти сливаются в удивительное единство.

Как известно, вершиной такого единства, классическим выражением такой гармонии является «Витязь в барсовой шкуре».

Некоторые здесь ставят точку: восточное + западное = грузинское.

Формула эта весьма подкупает своей непритязательностью¹.

Но что же такое тогда «самобытное», «первозданное» (что и мы отмечали)? Неужели только арифметическая сумма двух независимых единиц?

Для разрешения подобной проблемы необходим был бы согласованный труд целого ряда ученых (историка, философа, социолога, антрополога, этнографа, психолога, лингвиста, искусствоведа, литературоведа и теоретика литературы) такого масштаба, как, скажем, Иванэ Джавахишвили. Я коснусь лишь нескольких аспектов этой фундаментальной проблемы — притом в довольно ограниченных рамках, обусловленных моей компетенцией.

Начну с одного замечания.

История грузинской литературы (или, что то же самое, «литературная история Грузии») в целом ряде моментов должна быть написана заново. Наши исследователи уделили огромное внимание социально-историческому содержанию при изучении своего предмета (что, несомненно, принесло заметные плоды). Значительно меньше сил затрачено на освещение его национальных, так же как и типологических особенностей. В этом направлении нам сейчас предстоит сделать значительно больше, если учесть, что именно литература как особый вид творческого созидания представляет собой первейшую эманацию духовной сущности нации.

Кстати, решение подобной задачи завещано нам прошлым столетием.

Именно вторая половина XIX века является той эпохой, когда

¹ Единство различных потоков в грузинской литературе не говорит о ее эклектизме или о вторичном, зависимом ее положении. В примечаниях к книге Роуланда Н. Конрад намеренно выделяет «великую» и «полностью независимую» культуру древнего Кушанского царства, которая родилась на стыке нескольких культур — индийской, иранской, среднеазиатской, эллинистической и частично китайской и известна в науке как «синкретическое искусство».

передовые деятели Грузии настойчиво искали самую верную, исторически наиболее приемлемую модель национального самоутверждения. Во главе этих поисков оказывается литература, и не удивительно, что на первый план выдвигается художественный аспект проблемы.

«У каждого народа, — писал Акакий Церетели в 1901 году, — свой собственный, отличный от других облик, и литература того или иного народа, как зеркало, должна иметь особый колорит. И наша литература должна быть правдивым зеркалом грузинского народа... Если не будет этого, то литература наша не будет иметь никакого значения, как нечто самое примитивное, как безликая гень».

Подобное стремление было в те времена характерно и для множества других народов, вставших, подобно нам, на путь духовного пробуждения.

Примеров много. Но я приведу в качестве исходного один.

Величайший мыслитель новой Индии Вивекананда, учение которого Ромен Роллан назвал «всемирным Евангелием» нашего времени, так формулирует идею национальной самобытности:

«У любого народа, как и у каждого человека, в основе жизни лежит одна тема, центральный звук, вокруг которого концентрируются остальные звуки гармонии... Если народ отвергнет его, если он утратит принцип самосуществования — путь, указанный ему веками, — такой народ умрет...»

То, что слова эти взволнуют каждого патристически настроенного человека, разумеется само собой. Главное в том, где, в какой области следует искать наш «центральный звук».

Я опираюсь в основном на литературу. Опора эта сравнительно узка, но надежна. Прежде же чем обратиться к себе, послушаем еще Вивекананду. Природа его как индеец чистейшей воды раскрывается в одной фразе: «Люди возвышенные не стремятся к снисканию славы».

Как прекрасно это утверждение само по себе и в то же время как оно странно звучит для нас, наследников мудрости Руставели. Ведь в «Витязе в барсовой шкуре» сказано:

Слава — лучшее из того, что можно стяжать.

Не будем вникать, почему грузин считает, что слава — самая великая цель в жизни. Быть может, потому что нас мало и хочется, чтоб каждый в отдельности был на виду, а, возможно, и по какой-либо иной причине.

На сей раз удовлетворимся результатом «данности».

Вне слов «лучше нам гордиться славой» грузинский характер непонятен (потому, вероятно, поэты и моралисты всех времен

твердили грузину одно: самую великую славу можно снискать в самоотверженной борьбе за отчизну).

Я начал с мелочи, поскольку она лежала на поверхности и сразу бросилась в глаза как элементарное свидетельство того, сколь резко психика одного народа может отличаться от психики другого.

Главное, однако, кроется в глубине.

Вивекананда не довольствуется абстрактными заявлениями. Он прямо, конкретно указывает на то, в чем состоит главная «тема» (или же «звук») индийского народа.

Послушаем его:

«Любой человек, любой народ волен в выборе своей судьбы. Мы выбрали ее много столетий назад. Это — вера в бессмертие духа... Я предупреждаю вас, не изменяйте ей, вы не можете изменить собственной природе. Выбирайте достойную, добрую участь. В ваших руках огромная сила. Если распознаете ее и будете достойны ее, перевернете весь мир. Индия — духовный Ганг (точнее «Ганг духовности»)».

Как видите, проблема национальной самобытности рассмотрена здесь в широком масштабе. Я же, повторяю, в основном опираюсь на литературу, поскольку меня интересует лишь один аспект проблемы: как проявилась в художественном творчестве особенность грузинского духа, грузинского характера.

В «Витязе в барсовой шкуре» очень часто встречаются подчеркнутые автором антонимы при характеристике одного и того же предмета (героя, явления природы, вещи и т. д.).

Парность таких определений (оксиморонов) в поэме Руставели не должна быть случайной. Не можем мы приписать случайности, скажем, употребление в первой же строфе начальной главы слов «высокий» и «низкий» (в смысле величавого и снисходительного). Автору поэмы (при характеристике идеального властелина) не трудно было бы найти другие синонимы для передачи того же содержания, если бы его испугал эффект парадоксальности. Думается, для Руставели важно было добиться именно такого впечатления (соединением в одном контексте явных антонимов).

Метод этот весьма характерен для автора поэмы. С его помощью Руставели почти в самом ее начале указывает на простое, противоречивое единство природы человека.

Примеры этому встречаем мы и во вступлении к поэме: по Руставели, все в этом мире проистекает из одного источника — «О, единый бог, ты создал образ каждого тела», но здесь же

подчеркивается, что этот нисходящий свыше, единосущный мир «сущих» нам (людям) дан «в несметности своих красок».

Если мы расшифруем эти слова по-своему — в мироздании главное, характерное не только то, что оно в целом есть владение одной, неделимой, проистекающей от Духа силы, но и то, что как «земля» (то есть данная нам реальность) оно существует в бесконечном множестве «красок» (то есть материальном разнообразии).

Таким именно образом у Руставели акцентируется двойственность природы. С одной стороны, божественное происхождение, с другой — вещественное существование, с одной стороны, единство, с другой — безграничное многообразие.

Подобное представление о мире, разумеется, принадлежит не Руставели. Примечательно здесь то, что автор поэмы с помощью художественной выразительности (поэтическими средствами) изначально подчеркивает не только божественное, духовное начало мира, но и его непререкаемую потребность воплощения в земном, вещественном. Не случайно, вероятно, и то, что определение «в несметности красок» как лексическая клетка, заключающая в себе зарифмованную (ударную) единицу, явно акцентировано в тексте.

Интерес Руставели к подобным двойственностям весьма характерен для всей его поэтики (см. ниже главу «Витязь в барсовой шкуре» и грузинская классическая поэтика).

...Семь столетий спустя Важа Пшавела вновь обращается к «истокам» — к первоисточникам грузинского поэтического миропонимания — и обозначает, хотя и другими словами, почти то же свойство.

В художественной концепции Важа Пшавела функция истоков отнесена к народной поэзии, в частности к такому древнейшему ее пласту, как пшавское поэтическое творчество: «В пшавской поэзии сопряжены предельный идеализм с предельным реализмом».

Следует заметить, что «идеализм», так же как и «реализм», для Важа Пшавела — преимущественно эстетические категории.

Можно было бы вспомнить примеры также из творчества других наших поэтов, но я сознательно обратился только к двум. Руставели и Важа Пшавела, поскольку, по моему убеждению, в художественной системе именно этих двух творцов нашла свое совершенное проявление первоизданная природа грузинского национального характера. Основной же признак этой природы, этой

особенности — органическое сочетание «души» и «тела», духовного и вещественного.

Духовность сама по себе — вполне (порой даже до чрезмерности) развитое начало грузинской литературы. Возможно, Грузия не является «духовным Гангом», но уж средней горной рекой — непременно. В чистом своем виде это начало встречается в нашей духовной поэзии средних веков (в гимнографии). Позднее ярче других блеснет в творчестве Давида Гурамишвили и Николоза Бараташвили.

Но классическая форма грузинского эстетического мировоззрения (прежде всего, Руставели и Важа Пшавела), как правило, объединяет духовное начало с «телесным», материальным.

Взаимостремление души и тела, их обязательный союз — фундаментальное свойство эстетической природы грузинского народа.

Здесь же следует остановиться, чтоб критически осмыслить последовательность наших рассуждений, их итог.

Искушенный читатель, вероятно, уже заметил, что рассуждения эти немного нам дали в смысле новизны. Ведь единство («адекватность») души и тела (по Гегелю «идеи» и «формы») — основное свойство классического искусства вообще, что же осталось особенного, необщего нам, грузинам?

Такое упрощение привычного представления (с целью самоконтроля) — необходимая операция, дабы пафос утверждений не сбил нас с верного пути.

Это, понятно, настораживает, но тут снова на помощь приходит Важа Пшавела одним своим примечательным словом — «предельное». Примечательно здесь то, что духовное и вещественное на грузинском Парнасе не разбавляют, одно не поглощает другого, но именно в своем «предельном» самовыражении они принимают участие в данном союзе и именно в результате этого создают удивительное единство.

Единство это диалектично в самом остром понимании слова, ибо части здесь не только не уступают друг другу, наоборот, в крайней, «предельной» форме выражают свою суть и, стремясь к взаимопроникновению, при этом находятся и в остром противоборстве.

Именно это и является одной из главных причин внутреннего драматизма грузинского характера. Последнее утверждение требует специального разбора.

Странно: вышеописанное свойство особенно остро подметили два автора, по времени и духовным интересам отделенных друг от друга довольно большой дистанцией — царевич Вахушти и

Борис Пастернак. По словам первого, наши предки одинаково «ведали взаимную вражду и дружбу, веселье в радости и скорбь в горести» (подробно пишет Вахушти, в частности, о том, как безмерны («предельны») они были в выражении и скорби, и радости). Интересно и другое замечание из той же главы «Описания грузинского царства». По словам Вахушти, наши предки одинаково «быстро склонялись к добру и к злу» (хотя тут же читаем: «добру научающиеся и воздающие его»).

Два века спустя Б. Пастернак увидел внутреннюю противоречивость грузинского характера под другим углом: «Это какое-то живое нечто, составившееся из переплетения современной городской жизни и природного типа, а главное, из вековых наслоений двух порядков, празднично победоносных, грозящих перейти в поверхностность и притом потрясающе трагических, обрекающих на безмолвие, углубляющих, бездонных».

Следует отметить, что автор «Описания грузинского царства» царевич Вахушти был одним из первых грузинских ученых, осмысливших и оставивших потомству ценнейшие сведения о грузинском характере и нраве («Нравы и обычаи грузин»). Чрезвычайно важен в этом смысле параграф «О людях», к которому мы еще вернемся. Здесь же вспомним только об одном весьма примечательном пассаже: «Бодрые работники, терпеливые в невзгодах, на коне и в походах доблестные, стремительные... в бою могучие, любящие оружие, гордые, вольные (сравни со строкой Важа «Но гордые, стойкие, вольные» — Г. А.), ищущие славы так, что ради нее не шадят ни державы, ни царя своего, любящие гостей и веселье, забывающие о горе и нужде всякий раз, как оказываются вдвоем или втроем, щедрые, ни своего, ни чужого (добра) не берегущие, не копящие сокровищ, сообразительные, восприимчивые, к знаниям привычные, стоящие друг за друга, добру научающиеся и добром воздающие, смелые, быстро склоняющиеся к добру и к злу, храбрые до отчаянности, почитающие старших, приметливые (наблюдательные — Г. А.) и заносчивые».

Перевод Виктории ЗИНИНОЙ

Продолжение следует

Евгений СИДОРОВ

ВТОРАЯ КОЛЫБЕЛЬ

К 50-ЛЕТИЮ

ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

ГРУЗИНСКАЯ тема занимает в творчестве Евгения Евтушенко особое место.

«Впервые я побывал в Грузии еще совсем юным поэтом, — вспоминает он, — и тогда был обласкан ныне ушедшими от нас Галактионом Табидзе, Георгием Леонидзе, Симоном Чиковани — классиками не только поэзии, но и классиками грузинского характера. Я много переводил, писал о Грузии. Потом был большой перерыв. Затем с волшебством вечного магического магнита Грузия снова притянула меня...»

Читатель помнит, что издательство «Мерани» выпустило в 1979 году объемистый том стихотворений Евтушенко о Грузии и его переводов грузинских поэтов («Тяжелее земли»). Перечитывая эту книгу, отчетливо видишь, как много дала Грузия русскому поэту и как он стремится ответить ей любовью и пониманием, иногда даже впадая в экстатические преувеличения:

О, Грузия — нам слезы вытирая,
ты — русской музы колыбель вторая.
О Грузии забыв неосторожно,
в России быть поэтом невозможно.

Евтушенко принадлежат проникновенные строки о Тбилиси, в который действительно невозможно не влюбиться. Этот город для него «знакомый до слез», как Ленинград для Мандельштама.

Я тоскую по Тбилиси,
по глазам его огней,
по его тяжелолистью
и по легкости теней,
по балкончикам висящим,
словно гнезда, над Курой,
по торговкам, голосащим
над сочащейся хурмой...

Он перевел «Завещание Автандила» Ш. Руставели, «Мерани» Н. Бараташвили, стихотворений В. Пшавела, А. Церетели, И. Чавчавадзе. Но главный корпус его переводов — советская грузинская поэзия, представленная в основном именами Георгия Леонидзе и Симона Чиковани, Ираклия Абашидзе и Карло Каладзе, Мухрана Мачавариани и Алио Мирцхулава, Отара и Тамаза Чиладзе, абхазского поэта Ивана Тарбы.

Читая эти переводы, сразу узнаешь его стиховую манеру и чувствуешь, что от оригинала они бывают весьма далековаты. Евтушенко перестал бы быть самим собою, если бы «умер», растворился в переводимом поэте. «Законы поэтического перевода совсем другие, чем законы перевода прозаического. Даже самый скрупулезный поэтический перевод всегда в какой-то мере вольный... Если я перевожу какое-нибудь стихотворение, значит оно мне нравится, а если оно мне нравится, я как бы внутренне считаю его своим. Поэтому мои переводы—это в то же время и мои стихи, очень дорогие для меня и, может быть, еще более дорогие, чем просто мои».

Тот же подход формулируется Евтушенко в стихотворении «О переводах»: «Не страшен вольный перевод, // ничто не вольность, если любишь, // но если музыку погубишь, // все мысли это перевернет... // Себя школярством не стесни! // Побольше музыки, свободы! // Я верю лишь в одни стихи, // не верю в просто переводы!»

Каждая истина конкретна, и бесконечные споры о принципах перевода вынужденно смолкают на время, когда появляются художественные удачи, пусть возникшие и не по правилам спорящих сторон. У Евтушенко есть отличные переложения с грузинского.

Вот свидетельство известного критика и переводчика Георгия Маргвелашвили, редактора-составителя сборника «Тяжелее земли». Он пишет о переводе Евтушенко «Завещания Автандила царю Ростевану»: «С истинно поэтической доблестью, отбросив предрассудки относительно обязательности воссоздания в переводе ряда чисто формальных признаков поэтики поэмы, отказавшись и от хоренческого дубляжа руставелиевского шабри и от четырехкратной рифмовки, в равной мере сковывающих при «трансплантации» естественное звучание русского стиха, а значит и музыку духа Руставели, Евтушенко добился удивительно живого, энергичного... звучания и движения, дыхания и кровообращения этих строф, этой главы «Витязя в тигровой шкуре».

Если меня этот мир уничтожит, уничтожающий все,
Если меня не оплачет родитель, пряча в ладони лицо,

Если и саваном не прикроют родственники в тишине,
Мне от тебя одного бы хотелось — чуть сострадания
ко мне.

Я люблю и другое «завещание» в евтушенковском переводе — стихотворение Отара Чиладзе «Хочу тебе оставить столько...» с произительной концовкой:

Найди истаявшее рано
перо с присохшей кровью века
И над моим сожженным полем
найти звезду не позабудь.

А если вправду завещанье
не убивает человека,
не убивай меня ты тоже...
Дай мне пожить еще чуть-чуть.

Романтический грузинский стих близок мироощущению Евгения Евтушенко. В переводах как бы возрождается, продлевает жизнь важное свойство его натуры, с годами нередко уходящее из оригинального творчества. В переводах с грузинского он «возвращается» к идеальному в себе. И потому слова Евтушенко о том, что порой переводы ему дороже собственных стихотворений, не лишены правды, может быть и не осознанной им до конца.

...Долгие годы Совет по грузинской литературе Союза писателей СССР возглавлял Константин Михайлович Симонов, очень много сделавший для пропаганды грузинской поэзии и прозы, для издания на русском языке лучших произведений писателей Грузии. После его безвременной смерти председателем Совета стал Евгений Александрович Евтушенко.

В октябре восемьдесят первого мы были вместе в Западной Грузии на традиционном народном празднике, посвященном поэзии Галактиона Табидзе. В селе Чхвиши Ванского района, на родине великого поэта, собрались тысячи почитателей его творчества, приехавшие из соседних районов, из Тбилиси, Абхазии, Аджарии, Юго-Осетии. Когда начался поэтический митинг, пошел проливной, по-осеннему холодный и затяжной дождь. Но люди не расходились, слушая под открытым небом поэтов, артистов, музыкантов.

В этот день Евгений Евтушенко был удостоен премии Галактиона Табидзе, учрежденной хозяевами праздника. Так он получил свою первую отечественную литературную премию за тридцать с лишним лет неустанной работы в советской поэзии.

СВОИМ ГОЛОСОМ

ГРУЗИНСКАЯ литературная общественность и критика заинтересованно и доброжелательно встретила первые публикации молодого писателя Годердзи Чохели, появившиеся несколько лет назад в республиканской периодике. И вот перед нами уже маленький сборник рассказов, выпущенный издательством «Мерани».

Прочитав эту книжку, нельзя не согласиться с мнением критики: в грузинскую литературу пришел многообещающий, несомненно одаренный писатель. И пусть вклад Годердзи Чохели в грузинскую словесность пока мал, самобытность его очевидна, а молодость — обещает в дальнейшем новые интересные встречи с его произведениями.

То, что Годердзи Чохели даровит, чувствуется прежде всего в свободе, с которой он решает стоящие перед ним творческие задачи, в смелости и «решительности мазка», характерной только для тех, кому литература поверяет свои сокровенные тайны.

Ситуации, описанные в рецензируемых рассказах, нередко

Годердзи Чохели. «Письмо елям», «Мерани», 1980 г., и рассказы, опубликованные в «Литературули Сакартвелო» за 1981 год.

сложны, трудны, я бы сказал — профессионально опасны (горец, изображавший на киносъемках оленя и вдруг почувствовавший себя оленем в реальности; человек, на собственном плече ценой своих соков и крови взращивающий саженец ели), но Г. Чохели и в этих, казалось бы, надуманных ситуациях убедителен, значителен, глубок. Он избегает литературности и сентиментальности. Одно из объяснений тому видится в том, что условности в рассказах Г. Чохели не интеллектуального, «головного» происхождения — они берут начало в фольклоре. Вообще фольклор, народное слово оказало чрезвычайно благотворное влияние на его писательский почерк. По тембру голоса (а у каждого писателя несомненно свой тембр) он напоминает народных певцов, резким, крепким, открытым голосом расппевающих свои баллады. Но этот народный певец достаточно хорошо знаком и с современной музыкальной культурой, и порой сознательно имитирует народность.

Многие рассказы Г. Чохели похожи на бесхитростные притчи («Шуглиант Гиви», «В ожидании весны», «Пшав Гамахаре», «Чолабаули и Чохели»). Смысл этих притч прост и однозначен: время неозвратимо; жизнь надо беречь; родная земля прекрасна; люби свой род. Поведаны они простым, мускулистым языком с умеренной дозой горского диалекта, который наверняка озадачит будущего переводчика этих

рассказов. Прелесть притч — в языке, не стилизованном, а подлинно народном, и в по-народному простом и мудром подходе к жизни.

Сложнее обстоит дело с большими рассказами Г. Чохели — «Живущие по ту сторону», «Кровник», «Исполнитель главной роли».

Первый из них представляет собой как бы сборник преданий рода Чохели, некогда поселившегося у истоков Арагви: строгий свод горских законов, непререкаемость, авторитета старейшины, герои рода и его предатели — многое вмещает этот сборник. Большой знаток горской этнографии, академик Н. Кецховели в своем отклике на рассказы Чохели отмечает, что мало кто из профессионалов-этнографов может тягаться с молодым писателем в знании реалий горской жизни.

Все это так, но хотелось бы, чтобы современная проблематика решительнее вторгалась в творчество писателя — ведь и в рассказе «Исполнитель главной роли» она остается «за кадром» интересной и многозначительной истории человека-оленья, доносится до нас буквально как шум толпы за сценой. А судя по шуму, за сценой происходят события весьма интересные, быть может, ничуть не менее интересные, чем те, что происходят на сцене...

Полон драматизма рассказ «Кровник»: студент, участник отправляющейся в горы фольклорной экспедиции, получает предупреждение от кровника: «Берегись, я буду тебе мстить за отца, некогда убитого тво-

им отцом». В рассказе много колоритных эпизодов и деталей, сам по себе он хорош, и к нему у нас нет претензий. Но есть претензия к сборнику в целом — в нем маловато нынешней, сегодняшней горской деревни, переживающей очень трудные времена.

Как красноречиво и горестно об этом свидетельствует последняя маленькая зарисовка в сборнике — «Одиночество»! Двенадцатилетний мальчик каждую субботу ходит из интерната к себе домой, в маленькую, покинутую всеми деревеньку, где остались только бабушка, любимая собака и старая сова на дубе возле дома. Но голодной зимой собаку растерзали волки, и она уже не встречает мальчика, и вот лютая стая окружает самого мальчика, жуткий конец неминуем... Но «луна сломя голову покатилась по горам вниз, прижала мальчика к груди и вознеслась на небо». И мальчик с высоты небес увидел маленькую, жалкую, любимую деревню...

Г. Чохели несомненно известны проблемы современного горского села. Написать бы ему о них не в зарисовке со сказочным концом, а серьезно и трезво, с той искренностью, простотой и любовью, с какими написаны рецензируемые рассказы.

Творческая заявка Г. Чохели ярка и самобытна. В грузинскую литературу пришел многообещающий писатель-горец, может стать, призванный продолжить традиции Александра Казбеги и Важа Пшавела.

Александр ЭБАНОИДЗЕ

ПРЕОДОЛЕВАЯ, ПОБЕЖДАТЬ...

В ОСНОВУ борьбы нашей республики за преодоление ошибок и промахов прошлого, значительного отставания в экономическом и социальном развитии, развернувшейся вслед за принятием в 1972 году постановления ЦК КПСС «Об организаторской и политической работе Тбилисского горкома Компартии Грузии по выполнению решений XXIV съезда КПСС», были положены, как сказано в предисловии к книге Г. Лебанидзе «Преодоление», слова Леонида Ильича Брежнева, обращенные к коммунистам Грузии, о необходимости воспитывать каждого советского человека в духе строгого соблюдения законов, укрепления социалистической собственности, честного, добросовестного отношения к труду, в духе советского патриотизма...

Приводя эти строки, автор предваряющего сборник вступления «Коротко о книге и ее авторе» — Главный редактор газеты «Правда», председатель Союза журналистов СССР В. Афанасьев — кратко характеризует каждый из шести разделов «Преодоления», материалы которых, в свое время преимущественно помещенные на правдинских страницах, а теперь сведенные воедино в рассматриваемом издании, предоставляют возможность окинуть общим взглядом путь борьбы

и побед, пройденный Грузией за десятилетие, истекшее со дня принятия известного постановления ЦК КПСС по Тбилисскому горкому.

Раздел за разделом, следуя друг за другом и знаменуя этапы этой борьбы («Подводя итоги, намечая рубежи», «Борясь и побеждая», «Проблемы и суждения», «В едином строю»...), позволяют уловить основной пафос книги: преодолевая, побеждать во имя высшей цели — блага народа.

И действительно, располагая материалы в рамках каждого раздела в хронологической последовательности, автор раскрывает перед нами всесторонний, повсеместно утверждающийся глубинный процесс нормализации жизненных устоев советского общества на подступах к коммунизму во всех сферах нашей жизни, на всех уровнях партийно-хозяйственного руководства республики.

И потому, как справедливо отмечает В. Афанасьев, в силу охвата книгой многих сторон нашей жизнедеятельности «не приходится удивляться, когда рядом с материалами, так сказать, положительного плана, проблемами и суждениями соседствует критика недостатков».

Иначе и быть не могло. Несмотря на достижение определенных позитивных сдвигов, еще далеко не все в негативном плане преодолено. Да и весь отрезок времени, о котором идет речь в сборнике Г. Лебанидзе, включающий период между датой принятия постановления по Тбилисскому горкому в 1972 году и днями работы в январе минувшего года XXVI съезда Компартии Грузии, насыщен развернутыми широким фронтом ее Центральным Комитетом усилиями по

Георгий Лебанидзе. «Преодоление», «Сабчота Сакартвело», 1982 г. (на рус. яз.).

реализации указания Л. И. Брежнева о насущной потребности усиления борьбы с пережитками капитализма в сознании и поведении людей, высказанного в адрес грузинских коммунистов.

Вся работа в этом направлении и показана в разнородных материалах, суть которых сфокусирована в названии книги. Действительно, вернее чем **ПРЕОДОЛЕНИЕ** и не назовешь трудный путь восхождения к утверждению в нашей жизни, в деятельности партийных, хозяйственных и иных организаций и учреждений Грузии ленинского стиля работы.

Сила же, действенность этих разнохарактерных и разноплановых по жанрам, широте охвата, многообразию сфер, богатству сведений, материалов не только в информативности, глубоко проникновении в сущность рассматриваемых вопросов, четком осмыслении анализируемых фактов и явлений, но, прежде всего, в ясном понимании конечной задачи, выполнении которой продиктовано требованием жизни.

Опытный, высококвалифицированный журналист, профессионально владеющий средствами, методами, практикой партийной публицистики, прошедший большую газетную школу на протяжении почти трех десятилетий во флагмане нашей партийной прессы — «Правде», Г. Лебанидзе знает истинную цену печатному слову. И потому как верный помощник партии в решении всех ее задач пользуется своим оружием вдумчиво, осмотрительно. А посему всегда своевременно, и бьет оно в его руках точно в цель.

Хотя это качество характеризует и весь сборник, но особен-

но наглядно оно проявляется в таком жанре, как фельетон, где сила острого, разящего, точного слова наиболее осязательна и важна. Ведь оружие смеха, как известно, — одно из самых действенных в противоборстве с темными силами, неприемлемыми тенденциями, вредными пережитками и перегибами, проявлениями всего чуждого советскому образу жизни. И в этом нельзя не убедиться, прочитав неслучайно завершающий книгу раздел с фельетонами, служащими предостережением на будущее.

На восстановление ленинских норм в нашей жизни нацелены, конечно, не только фельетоны, но и вся совокупность частей во взаимодействии с целым, ставшим книгой, отправной точкой для которой явилось постановление по Тбилисскому горкому.

Несмотря на многообразие тем, жанров, сфер, аспектов, эти некогда разрозненные части-материалы, свидетельствующие об огромном труде журналиста-летописца событий истекшего десятилетия и широте его интересов, позволивших снабдить нас целым сводом сведений, благодаря их продуманному расположению как бы по главам книги и наличествующей во всем сверхзадаче воспримаются, как единое, лишенное пестроты повествование, неожиданно оказавшееся решенным в одном ключе, в одной тональности и стилистической манере.

Все это помогло автору сборника с максимальной полнотой и объективностью поведать о пройденном нашей республикой почти десятилетнем пути, имя которому — преодоление.

Л. ДОЛИДЗЕ

Нина ГЕТАШВИЛИ

ПОД ЗНАКОМ ГРАФИКИ

О персональной выставке работ заслуженного художника Грузинской ССР Мамия МАЛАЗОНИЯ

ПИСАТЬ о персональной выставке Мамия Малазония легко — очевидны цельность экспозиции и самобытный талант ее автора. Писать об этой выставке трудно. Тому есть важная причина. Выставка Малазония — событие культурной жизни нашей республики, которого давно ждали, и оно с лихвой оправдало все ожидания. Персональная выставка — это всегда серьезный творческий отчет, ответственный экзамен перед зрителем, коллегами и критикой, а потому М. Малазония, художник, чья слава давно устоялась, чьи работы постоянно и с успехом экспонируются на республиканских и всесоюзных выставках, так долго и тщательно готовился к ней. Нам важно учесть этот факт, ибо принцип отбора вещей, который явно не случайно избрал Малазония для своей выставки, составляет главную, на мой взгляд, сложность в ее обзоре. А если быть поточнее, то слово «сложность» (ведь скорее всего своим отбором художник даже облегчил задачу критики) придется заменить словом «неудовлетворение». Так в чем же заключается наш упрек художнику?

Персональные выставки обычно носят ретроспективный характер, позволяют наиболее полно выявить основные вехи и особенности творческого пути художника и являются поводом для подробного его обсуждения, анализа и оценки. В данном же случае, увы, критике придется наступить «на горло собственной песне», потому что если взять предметом разговора лишь персональную выставку Малазония, то составить себе полное представление о его творчестве довольно затруднительно. На мой

взгляд, художник поступил с собой сурово и безжалостно. Готовя выставку, Мамия Малазония, которого все привыкли считать театральным художником, сделал свой выбор в пользу графики. Не берусь утверждать, правомерен ли подобный выбор (смею уверить, знаменитая арба-перевертыш из «Меча Кахабера», несущая на себе основную пространственную нагрузку спектакля, так же интересна в образном и содержательном плане, как и занавес к этому же спектаклю), но закономерность его очевидна — в ежегодных сценографических экспозициях «Итоги сезона» Малазония с редким постоянством представлял «выставочные варианты» эскизов к театральным постановкам, т. е. фактически варианты графические.

Персональные выставки не только ретроспективы, но и программы. В этом смысле выставка работ Мамия Малазония не явилась исключением: нашему вниманию было предложено графическое искусство мастера. И некоторые театральные эскизы, показанные на ней, следует рассматривать именно под знаком графики.

Что ж, надо отдать справедливость художнику — выставка его, потеряв в широте, приобрела в единстве, цельности. Она еще раз и с полной аргументированностью подтвердила, насколько сильна графическая сторона дарования мастера.

Известный советский иллюстратор Владимир Алексеевич Милашевский в своих «Записках на обороте рисунков» заметил: «Живописец, который подражает другому, как бы велик ни был этот последний, говорит Леонардо да Винчи, перестает быть сыном природы: он превращается в ее внука.

Иллюстратор как бы добровольно отказывается от сыновства и обрекает себя быть только внуком. Он как бы следует по стопам своего если не отца, то отчима — писателя».

М. Малазония обрек себя «быть только внуком».

Но тот же Милашевский двумя абзацами раньше говорит: «Природа иллюстратора другая, он заражен миром, созданным другим, это не минус художника, а особые его качества. Мы любимся, и как «заразился» Бенуа гением Пушкина в его «Медном всаднике». Разве Доре не один из самых «заражаемых» художников на нашей планете?

И разве не великий Боттичелли стоит первым в длинной шеренге этого типа художников: он первый почувствовал потребность подчиниться другому «великану» — великому Данте».

Отличительной особенностью Малазония-иллюстратора является то, что он никогда не иллюстрирует только сюжет литературного произведения, будь то эпос, сказка или драма. Для

него важен прежде всего характер, стиль иллюстрируемой книги, то есть особое, лишь этому произведению присущее мироощущение. Кроме того, работы Малазония характеризуют художника как тонкого и умного стилиста.

Традиции расцвеченных инкунабул нашли свое современное воплощение в серии миниатюр (именно так следует определить жанр, в котором выступил художник) к «Мученичеству Шушаник» Иакова Цуртавели. В каждом листе присутствует та совершенная законченность, которая делает их похожими на византийские эмали. Чеканная пластическая ясность композиций, введение абстрактных светло-золотых заливок, благородная нарядность нежных, прозрачных красок, тонкое ритмическое распределение групп в листах делают содержимое этих последних почти нематериальным, отвлеченным от всего чувственно-конкретного воплощением духовного содержания — «Мученичества». Шекспировские характеры, страсти высокого накала, описанные Цуртавели, давали возможность разной глубины психологического их постижения. Малазония отказался от такой возможности не из-за поиска легких средств. Не забудем, что художник делал свои «миниатюры» к самому древнему варианту (на старогрузинском языке) «Мученичества», посвященного 1500-летию старейшего памятника грузинской литературы. Поэтому стилизация здесь продиктована бережным, тактичным отношением к источнику и требовала использования не только сугубо профессиональных приемов, но и знания истории культуры.

Если проследить генетическую линию «Мученичества» в творчестве Малазония, то ближайшее родство обнаружится в иллюстрациях к древнегрузинскому эпосу «Русуданнани», а начало ее, этой линии, мы найдем в занавесе к спектаклю «Меч Кахабера». Но при видимой связи этих работ нельзя не заметить, как дифференцирована реакция художника на стиль оформляемой литературы. Листы к более позднему по времени созданию «Русуданнани» полны той же неуловимой утонченной поэзии, что и миниатюры к «Мученичеству», но полнокровнее, земнее последних.

Исторические события, происходящие в спектакле по пьесе П. Какабадзе «Меч Кахабера», лишены точного адреса во времени. Однако стилизация и здесь очевидна: и на этот раз не будет, пожалуй, трудно назвать конкретные ее истоки. Приземистостью фигур, их пропорциями и расположением изображения напоминают древнегрузинские каменные рельефы. Но ведь не в том дело, что именно они напоминают! Главное это то, что уже ма-

нерой своей художнику удается вызвать у зрителя с первого же взгляда на эскиз множество нужных ассоциаций, намекнуть ему на «знак эпохи», место действия и даже жанр произведения, ведь зритель составляет себе сначала «общее впечатление», а уже затем внимательно приглядывается к деталям.

Итак — стилизация. Что же кроется за ней у Малазония? Желание спрятаться за приемом и избежать таким образом собственных концепций? Нет. Концепции как раз и имеют место. Да простится мне обильное цитирование, но хочется привести здесь слова Э. Ф. Голлербаха, сказанные им в адрес великого режиссера и, как мне кажется, дающие ключ к пониманию и малазониевской стилизации: «Заслуга Мейерхольда в том, что он выдвинул принцип стилизации взамен воспроизведения стиля, связав с понятием стилизации идею условности, обобщения и символа. Для него «стилизовать» эпоху — значит всеми средствами выявить внутреннюю сущность данного комплекса явлений, обнаружив его скрытые характерные черты».

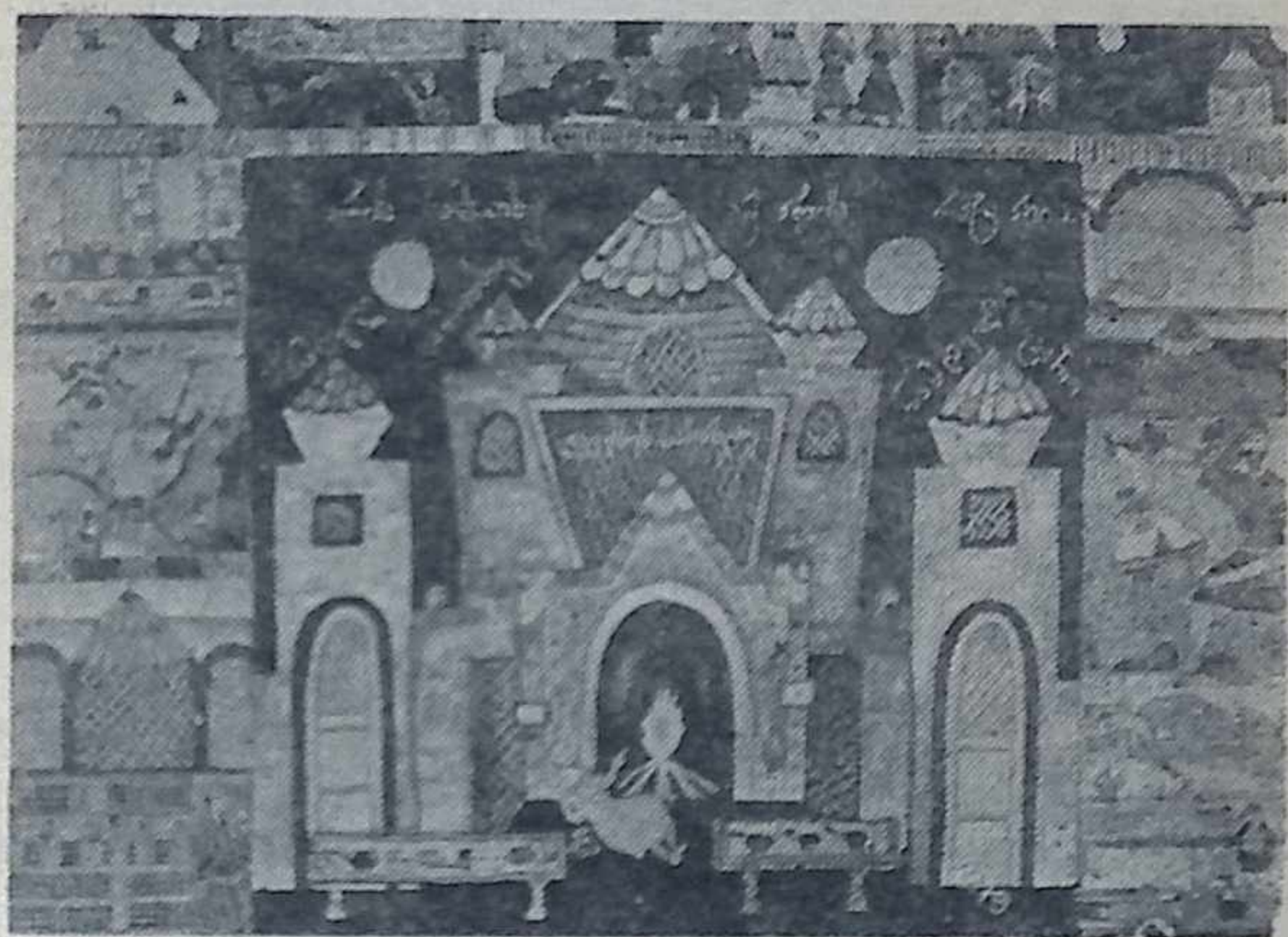
Но есть еще одна причина появления стилизаций у Малазония — его артистизм, внутренняя гибкость, способность «играть по правилам» предложенным, но при этом всегда внося в «игру» и свои «правила». Ибо стилизация не исключает, а подразумевает у Малазония интерпретацию.

Так же как и в театре, стиль графических работ Малазония имеет достаточно широкую амплитуду выразительности, и листы высокого стиля соседствуют в его творчестве с композициями явно комического склада.

Наивность и ирония определяют характер его иллюстраций к «Двум веронцам» Шекспира, и автору хорошо дается эта интонация. Рисунки — черно-белые, и главное средство их выразительности, — энергичная, лихая линия и острый, словно прорезанный штрих. Композиции живо напоминают средневековые гравюры к «Декамерону», а предваряет серию портрет Шекспира на фоне здания театра «Глобус». Таким образом, здесь Малазония с легкостью справляется с труднейшей задачей, всегда стоящей перед иллюстраторами итальянских пьес Шекспира, — совмещения Италии, места действия пьесы, и Англии времен шекспировского театра. А главное, никакие реминисценции не помешали художнику создать в своих иллюстрациях остро-современный, веселый и остроумный комментарий к пьесе.

«Зимняя сказка» Шекспира, не связывая действие пьесы ни с одним реально существующим на нашей планете государством, ставила перед художником задачу посложнее. Но разве важны границы государства влюбленным, когда они крепко держатся за

руки, глядя в глаза друг другу, а над ними цветут похожие на незабудки звезды и радугой, подковой, приносящей счастье, сияют слова любви и благодарности. С удивительным изяществом удается художнику передать обаяние и особую душевную ясность пьесы. Тонкая белая линия рисунка вьется на коричневом фоне. Фон этот глубокий и теплый, и белый на нем выглядит очаровательным кружевом, а вся поверхность картона от этого становится словно ажурной. И «титры», которые с таким простодушием вводит в ткань изображаемого художник, мыслятся здесь не только содержательными подсказками, но и необходимым орнаментально-декоративным мотивом.



М. Давиташвили. «Нацаркекия». Эскиз декорации.

Совсем по-другому, прилежным школьным почерком вписывает свои веселые надписи Малазония в эскизы декорации к опере М. Давиташвили «Нацаркекия»: «Это рай», и чтоб никто не вздумал сомневаться, подтверждает: «Настоящий рай»; или «Здесь главное» и «Настоящий пепел». Здесь надписи — производное праздничной сказочной стихии с ее розыгрышами и способностью, скрывая улыбку и сохраняя серьезность, говорить о событиях чудесных и приключениях невероятных.

То, как Малазония позже использовал эту свою находку (введение шрифта в рисунок), мы обсудим ниже, а пока мне хо-

чется остановить внимание на важнейшем качестве Малазония-иллюстратора — его декоративном даре. Потому так органичны в его творчестве эскизы декоративных панно, скульптурных барельефов, предназначенных для украшения интерьеров. Малазония никогда не забывает, что он оформитель, но при этом любая его серия иллюстраций и эскизов обладает еще и самостоятельной эстетической ценностью. Никогда у него декоративные эффекты не существуют в ущерб художественно-образной задаче, и только эта последняя и определяет разность графической лексики.

Процесс создания произведений для Малазония—прежде всего кропотливый труд, требующий огромной сосредоточенности ума, чувств, мастерства. Отсюда и отношение к плодам его как к творениям уникальным. Может быть, поэтому с годами Малазония все меньше отдает предпочтение сценографии, ибо в театре художник лишается монополии на свой труд, и часто конечный результат (то есть сами декорации) не адекватен первоначальному авторскому замыслу, любое искажение которого всегда болезненно для каждого добросовестного художника.

Почерк Малазония узнаваем. Рыхлость, невыстроенность, малейшая незавершенность немыслима в его работах. Их отличает кристальная ясность пластических решений. В них темперамент подчинен интеллекту, воле к выбору, которые не сушат форму, не гасят ее внутреннюю энергию, но, напротив, концентрируют. При всей обдуманности они пронизаны живыми токами доверительной непосредственности, у них «легкое дыхание».

Малазония в одинаковой мере владеет и цветом, и линией. В большинстве листов предельно выразительная линия берет на себя основную нагрузку пространственных характеристик. Но и линия у Малазония разная. Она может быть изящной, почти прозрачной, грациозной, шаловливой, как в эскизе к спектаклю театра Руставели «Ханума», и густой, основательной, как в иллюстрациях к «Двум веронцам».

Почти всегда в его работах различной интенсивности цвет ложится спокойными плоскостями. Иллюминированная яркость в них исключена, сочетания оттенков изысканны и нежны. Но даже ровно окрашенные поверхности не замыкаются в себе, словно освещенные откуда-то изнутри. Однако бывает и так, что цвет высвобождается из контуров, становится независимым от линий. Что такое возможно в творчестве Малазония, можно было почувствовать уже в некоторых эскизах костюмов к кинофильму «Десница великого мастера», исполненных с импрессионистической легкостью, с поразительной внутренней раскованностью. После 1968 года попытки подобного рода не возобновлялись.

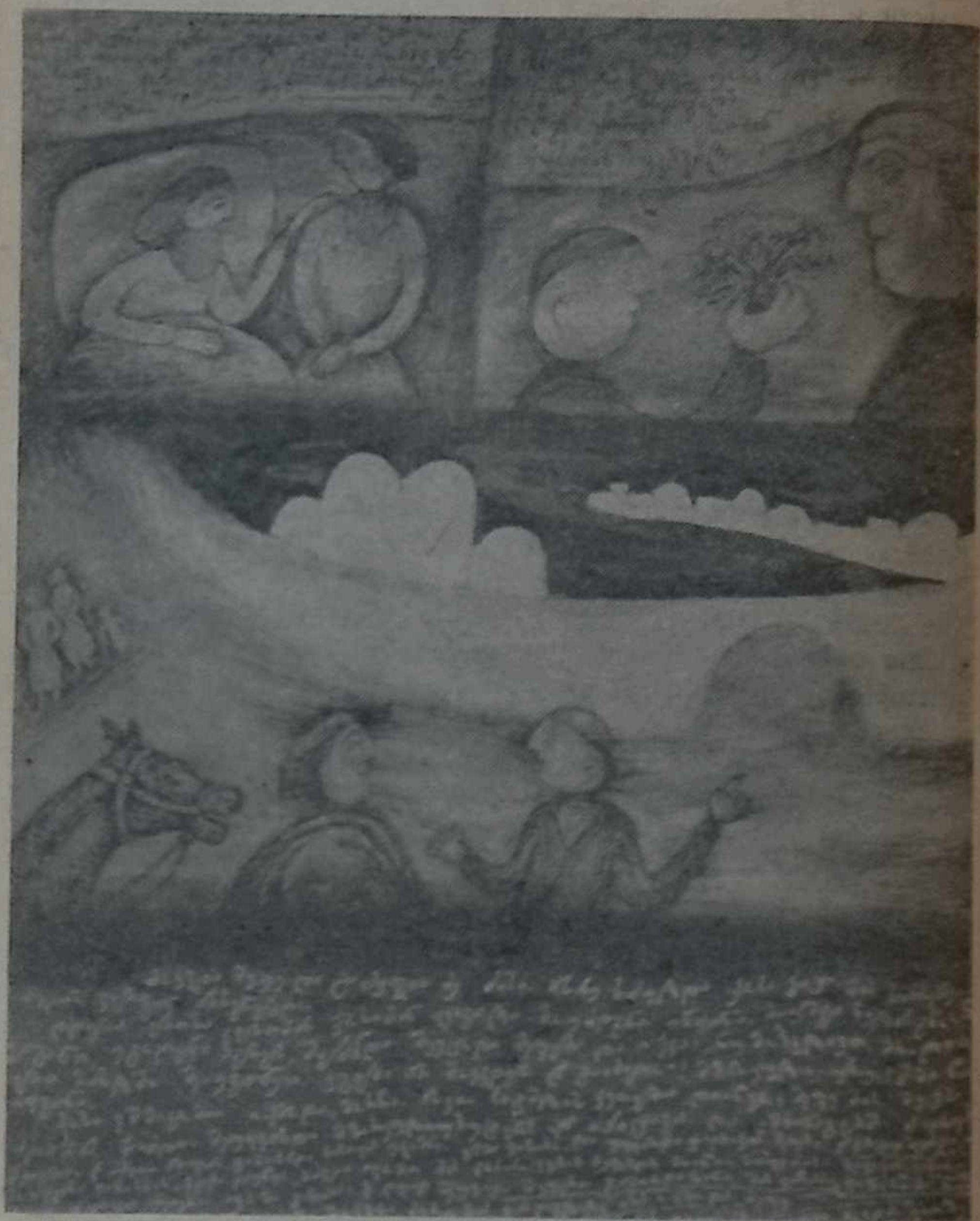
Но не только поэтому иллюстрации к семи стихотворениям Г. Табидзе можно с полным правом назвать художественным открытием. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить прошлые споры об изобразительном истолковании поэзии вообще и лирической поэзии в частности. Стоит вспомнить и то, что все дебаты по поводу того, возможно ли средствами изобразительного искусства адекватно выразить образный строй лирики, поэтическую эмоцию ввести в русло предметного мира, оставили этот вопрос открытым. Малазония предложил в своей серии необычное прочтение поэзии, прочтение настолько самостоятельное и самообытное, что, может быть, оно и не станет образцом для других художников. Но степень искренности, страстности и глубины постижения поэтического духа Галактиона позволяют назвать феномен Малазония — его иллюстрации к семи стихотворениям — художественным достижением высшего порядка.

Они обнаруживают в себе то, что заключено в табидзевской лирике: камерность в сочетании со «всемирностью». Малазония не пытается дать здесь пластическое истолкование поэзии, поставить образы изобразительные в ряд с образами поэтическими. Кажется, что он полностью поддался стихии творений Галактиона, и она-то и явила нам эти листы, выплеснувшись из бумаги не в слове, а в цвете. Но разве можно назвать просто цветом ту субстанцию, глубокую и беспредельную, стремящуюся обрести форму и исчерпывающуюся самой собой, которая рождает на наших глазах из своих недр плывущие колеблющимися волнами гениальные строки. Она создает неповторимую атмосферу, исторгая эмоции, определить которые возможно лишь лирикой Галактиона.

Безусловно, что при иллюстрировании «Мудрости вымысла» Сулхана-Саба Орбелиани Малазония воспользовался опытом работы над табидзевским циклом. Но если в листах к лирике цвет брал на себя основную эмоциональную нагрузку, здесь цветное марево — лишь фон. Правда, фон очень активный и необходимый; его можно сравнить с тем «научным» бульоном, на котором взращиваются нужные микрокультуры. На этом фоне, когда он темнеет, бегут светлые, неровные строчки, написанные торопливым почерком, хоть без соблюдения всех правил каллиграфии, но ясным и понятным. Там, где светлеет фон, «чернила» становятся темными.

Георгий Леонидзе так писал о «Мудрости вымысла»: «Мы не преувеличим, сказав, что книга эта является катехизисом грузинского остроумия. Она — воистину народная книга, органически вошедшая в быт грузинского народа». Именно так — как

сборник народной мудрости иллюстрирует Малазония книжки Орбелиани. Как резко отличаются его листы от иллюстраций к ней Л. Гудиашвили и С. Маисашвили с их изысканной парадностью и танцевальной пластикой персонажей. В содержании притч Малазония выделяет основные узлы, и вот над строчками или под ними появляются полуфигуры их героев, как персонажи площадных кукольных театриков. Кажется, Малазония, начисто



Сулхан-Саба Орбелиани. «Мудрость вымысла». Иллюстрация.

забыл о своих стилизаторских способностях и о восемнадцатом веке: его листы вне времени. Изображения на них так просты, непосредственны и выразительны, словно исполнены рукой ребенка. Но этой простоте оказалось под силу донести мудрость вымысла до зрителя.

Трудно пока оценить в полной мере значение последних двух циклов (Табидзе и Орбелиани) в творчестве Малазония. Мне кажется, что это не просто очередной этап развития, но перестройка всего творческого организма.

Мамия Малазония принадлежит к той немногочисленной категории мастеров, чье искусство всегда неожиданно. Вызваны его изменения не желанием эпатажа, но тонкой душевной чуткостью, подвижным, незамкнутым миром ума и сердца. Поэтому так трудно предсказывать его будущие пути и так интересно ждать их итогов.

Порой при полном внешнем благополучии творческой биографии она содержит множество драматических моментов, скрытых от посетителей выставок, читателей книг и зрителей театральных представлений. Они рождены на первый взгляд произвольными выводами и взглядами художника на собственную работу и возможности воплощения своих творческих устремлений. Как-то, беседуя с М. Малазония, я попросила его ответить на несколько вопросов. И хоть разговор наш никак не касался закрывшейся недавно его персональной выставки, ответы художника имеют, по-моему, к ней самое прямое отношение. Потому я и сочла нужным привести здесь запись нашей беседы.

— Что было вначале: театр или графика?

— По-моему, я пропитан театром и театрален. С детства, сколько себя помню, все свое свободное время проводил в театре¹. Но в 1957 году в Академию художеств поступил на факультет графики. На третьем курсе перешел на театрально-декоративное отделение. Моя дипломная работа — «Третье желание» Блажека на сцене театра Руставели (в театр привел меня Парнаоз Лапнашвили — руководитель моей мастерской в академии). Ставил спектакль Р. Стуруа. Это была и его дипломная работа.

— И вы остались в театре?

— Нет. После Блажека работал на киностудии. Делал мультфильмы. И сейчас охотно их делаю.

— Давайте вернемся к «истории».

— До того как был поставлен «Меч Кахабера» Г. Лордки-

¹ Отец художника — В. Малазония был главным художником Махарадзевского драматического театра.

панидзе с моими декорациями, работал в театре эпизодически. После этой постановки все изменилось.

— С какими трудностями или проблемами вам приходится сталкиваться в повседневной работе в театре?

— Наверное, с теми же, что и многим другим. Так часто в театре результат работы художника от него самого не зависит. И еще: снимается спектакль, и его словно и не было. И еще... Много есть еще, что меня не устроило бы, если бы работа только в театре. Но я всегда помнил, что я не сценограф, если понимать это слово в том первом варианте, как оно появилось на свет в противовес понятию «театральный художник», а именно художник. Книжная графика дает мне свободу, независимость. В последние годы она сделалась особой моей привязанностью.

— А театр вы ее лишили? Странно будет звучать это в устах бывшего главного художника Руставского драматического театра, театра им. Марджанишвили, а ныне главного художника Государственного театра оперы и балета.

— Сейчас работаю в театре с удовольствием. Сделать в два года один-два спектакля — это удовольствие. Но я предпочитаю оперу, балет, где необходимы цвет, рисунок, художник. Я убежден, что минуло время сухой, голой сценографии. Мне кажется, что сценические эффекты XIX века были не так уж нелепы. Кроме того, я бы с интересом посмотрел спектакль с оформлением, сделанным по ремаркам. Нало просто хорошо его сделать.

— В своем изобразительном творчестве, в театре, в иллюстрациях вам приходится отталкиваться от литературной основы. Кроме литературы, вы зависите еще и от заказов. Такая ситуация вас не смущает?

— В принципе я всегда имел возможность выбирать себе интересную работу. А в последнее время стал делать иллюстрации, не рассчитывая на их тиражирование и не связываясь с издательствами. Так вот я сделал иллюстрации к Галактиону, Орбелиани, к «Давиду VIII».

— А «зависимость» от литературы вас удовлетворяет?

— Вполне. Хотя я часто не понимаю эту свою особенность — способность и потребность импровизировать в чужих рамках. Но ведь выбор «рамок» (это, конечно, несправедливое, неточное определение, но все-таки...) зависит от меня. А отдача в духовном плане от Шекспира, Галактиона, Орбелиани огромна.

ХАРАКТЕРЫ И СУДЬБЫ •

ПЬЕСА А. ГЕЛЬМАНА
В ТЕАТРЕ
ИМ. РУСТАВЕЛИ

СИЛА театра в том, чтоб наиболее глубоко и полно отразить современность с ее положительными и негативными явлениями. Проявляя собственное отношение к проблемам современности, театр призывает зрителя участвовать в общественной жизни, ни на одно мгновение не отгораживаться от нее. Быть гражданином, бескорыстным защитником истины — вот что ценилось во все времена. Эти качества должны быть естественной потребностью человека, и тогда станет легче бороться со злом, преодолевать трудности, возникающие в человеческих взаимоотношениях.

Современная драматургия, с пристальным вниманием всматривающаяся в текущие процессы, старается оценить взаимопротивоположные явления, сложные конфликтные ситуации и человеческие взаимоотношения, складывающиеся в подобной обстановке.

Активно включаясь в полемику, театр заостряет внимание зрителя на проблемных вопросах. В процессе этой полемики возникает тесный контакт между сценой и зрительным залом. И тогда человек, сидящий в зале, становится свидетелем внутреннего диалога между актером и зрителем.

Именно такой настрой возникает у зрителя, присутствующего на спектакле театра им. Руставели «Мы, нижеподписавшиеся...» по пьесе А. Гельмана.

Пьесы А. Гельмана часто посвящены проблемам производства. Именно здесь автор находит сложные жизненные конфликты, вскрывая которые старается определить пути их преодоления. Действие пьесы «Мы, нижеподписавшиеся...» тоже развивается по пути раскрытия подобного конфликта. Автор касается вопроса взаимоотношений руководителей с подчиненными, рассматривает конфликты, возникающие при столкновении личных и общественных интересов.

В спектакле, явившемся режиссерским дебютом Гии Антадзе в театре им. Руставели, ярко проявилась индивидуальная манера, своеобразие творческого почерка режиссера. Он нашел

точное и интересное постановочное решение, для осуществления которого внес в пьесу определенные изменения. Режиссер максимально сократил количество действующих лиц, отказавшись от второстепенных персонажей; в начале спектакля и в финале отказался от сценической характеристики железнодорожной станции (в пьесе несколько эпизодов происходит на перроне), что сделало действие более лаконичным и помогло наиболее ярко раскрыть характеры действующих лиц, подчеркнуть их душевное состояние.

В отличие от драматургического первоисточника режиссер нашел новое решение сцене знакомства Шиндина с Девятовым. В пьесе у Шиндина действительно происходит конфликт с проводником, когда последний отказывается пустить его в вагон с другой стороны. Режиссер отказывается от этого диалога и начинает действие со второй сцены, в которой Шиндин снова вступает в спор с проводником — теперь уже из-за билета. Таким образом, в означенной сцене рассказ Шиндина приобретает значение выдумки, рассчитанной на то, чтоб завязать знакомство с членами комиссии.

Этот момент исполнитель роли Шиндина Г. Харабадзе выделяет особо. Зритель легко верит, что для этого человека урегулирование служебных проблем стало обычным явлением.

В течение спектакля выясняется, что диспетчером строительства Шиндиным движет желание урегулировать конфликт, возникший между управляющим трестом Грижелоком и начальником строительства Егоровым (в пьесе они не появляются). Для актера Г. Харабадзе это стремление Шиндина является исходной точкой выяснения создавшейся ситуации. Он твердо верит в то, что борется за личность, которая способна возглавить дело и руководить им, исходя не из личных, а из общественных интересов, без всяких незаконных деляческих уловок. Шиндин уверен в конечной победе правды. Поэтому он так самоотверженно борется за спасение Егорова, старается помочь председателю приемной комиссии строительства разобраться в конфликтной ситуации. Он откровенно рассказывает Девятову о причине своего поступка, хотя теперь он оказывается в еще более сложном положении, так как скомпрометирован собственной авантюрой и ему трудно заставить Девятова поверить в истину. Поэтому герой Г. Харабадзе не оправдывает себя. Он старается объяснить членам комиссии, что заставило его разыграть пресловутый «день рождения». Шиндин растерян. Этот энергичный человек с борцовским характером кажется совершенно беспомощным существом.

Для характеристики Шиндина Г. Харабадзе находит интересные средства, с их помощью он передает всю напряженность борьбы, в которой постепенно выкристаллизовывается образ Юрия Девятова, созданный Эроси Манджгаладзе (как жаль, что зритель больше не увидит на сцене этого блистательного мастера. Недавно грузинский народ проводил своего славного сына в последний путь). Вначале его герой кажется неразговорчивым, грубым, лишенным эмоций человеком. Но после конфликта с проводником он относится к Шиндину сочувственно — старается помочь человеку, попавшему в затруднительное положение. Оказывается, не такой уж это неприветливый человек, каким казался. В следующей сцене Эроси Манджгаладзе показывает непосредственность своего героя, присущее ему чувство юмора, товарищеское отношение к окружающим. Однако он резко меняется, как только узнает о настоящей причине сбора, тут же дает окружающим почувствовать свое отношение к происшедшему факту. Поэтому абсолютно понятна его неприязнь к Шиндину в дальнейшем. Он даже не хочет его видеть, хотя интуитивно чувствует, что в убедительной просьбе этого человека должна быть скрыта серьезная причина.

Герой Э. Манджгаладзе не сразу сумел глубоко проникнуть в суть дела. Ему непонятно, почему Шиндин рассказывает ему эпизоды из биографии. Девятов пытается разобраться в ситуации, сложившейся на строительстве, опираясь только на конкретные факты, и путанные объяснения собеседника только лишают его этой возможности. Девятов отказывается подписать акты. И только оставшись наедине с самим собой, Девятов начинает анализировать свой диалог с Шиндиным и глубоко задумывается.

Вместе с Нуйкиной он вспоминает конфликты с руководством прошлых лет, убеждается в их непосредственной связи с сегодняшними событиями и начинает понимать, что дело касается не только подписания или неподписания акта о приеме незавершенного строительства хлебозавода. Решается судьба человека. Он же благодаря своей принципиальности невольно оказался слепой силой в руках дельцов. Логика неумолимо приводит героя Э. Манджгаладзе к этому выводу. Рождается страшная для него истина. Девятов недоумевает — как могло случиться, что личные его качества, его принципиальность могли быть использованы как средство для уничтожения честного человека? Но вот решение принято. Девятов подписывает чистые листы, предназначенные для актов, и настаивает на том, чтоб и другие члены комиссии поступили так же. Ему предстоит преодолеть их сопротивление, и он со свойственной ему энергией вступает в борьбу.

На протяжении спектакля личность Девятова проходит долгий путь метаморфозы. Один человек садился в поезд, и совсем другой выходит из него: ему как бы заново открылась та сторона человеческих взаимоотношений, на которую он раньше не обращал внимания. Незначительные детали человеческих взаимосвязей, казалось даже не заслуживающие внимания, постепенно приводят его на позицию Шиндина. Он становится единомышленником человека, принципов которого не разделял, которого всего несколько часов назад сторонился. В этой сцене, где напряжение достигает высшей точки накала, режиссер как бы раздвигает узкие рамки купе железнодорожного вагона и выводит героев на авансцену для публицистического спора. Режиссер старается дать оценку не только действиям героев, но и тем исходным мотивам, которые ими движут, ибо герои пьесы Гельмана борются не только за утверждение правды, но и в защиту человеческого достоинства. Именно этим объясняет Девятов причину своих действий члену комиссии Нуйкиной.

Большое значение приобретает линия Нуйкиной в заключительной сцене. Прерываемая от волнения голосом читает она подписанный акт и просит вернуть эти листы. Никому, кроме нее, не пришла в голову мысль о необходимости уничтожения опасного документа, который может испортить ее отношения с начальством. Несмотря на то, что героиня М. Тбилели подсознательно сочувствует Шиндину, понимает драматизм его положения, она не изменяет своим принципам.

В финале должна была выясниться позиция еще одного персонажа. По пьесе Алла Шиндина не сочувствует мужу, не понимает его взглядов. Но вдруг она открывает его заново: перед ней человек с такими качествами, каких она в нем и не подозревала. В пьесе прекрасно вскрыты причины перерождения Аллы, и не остается сомнений в том, что в будущем она обязательно встанет рядом с мужем, полностью разделив его убеждения.

К сожалению, в спектакле эта линия бледна. В героине И. Гигошвили отмеченные перемены почти незаметны. Актриса только старается удержать взволнованного, порой теряющего самообладание Шиндина и по возможности успокоить его. Потому-то в финале остается невыясненным, переходит Алла на позиции мужа или нет.

Вокруг Шиндина и Девятова вращается целый kaleidoscope лиц. Ими движет не только непримиримость характеров, здесь сталкиваются противоположные позиции, идет борьба полярных нравственных норм.

Не всегда от добрых намерений человека зависит идейное слияние личных интересов с общественным долгом. К числу людей, не сумевших добиться внутренней гармонии, относится Малисов, которого играет Р. Микаберидзе.

В пьесе он всеми силами старается создать атмосферу неблагополучия на стройке, чтобы члены комиссии не подписали акта. Малисов озлоблен — он многого добился в жизни с помощью Грижелюка и теперь, расплачиваясь за это, вынужден прислуживать начальству.

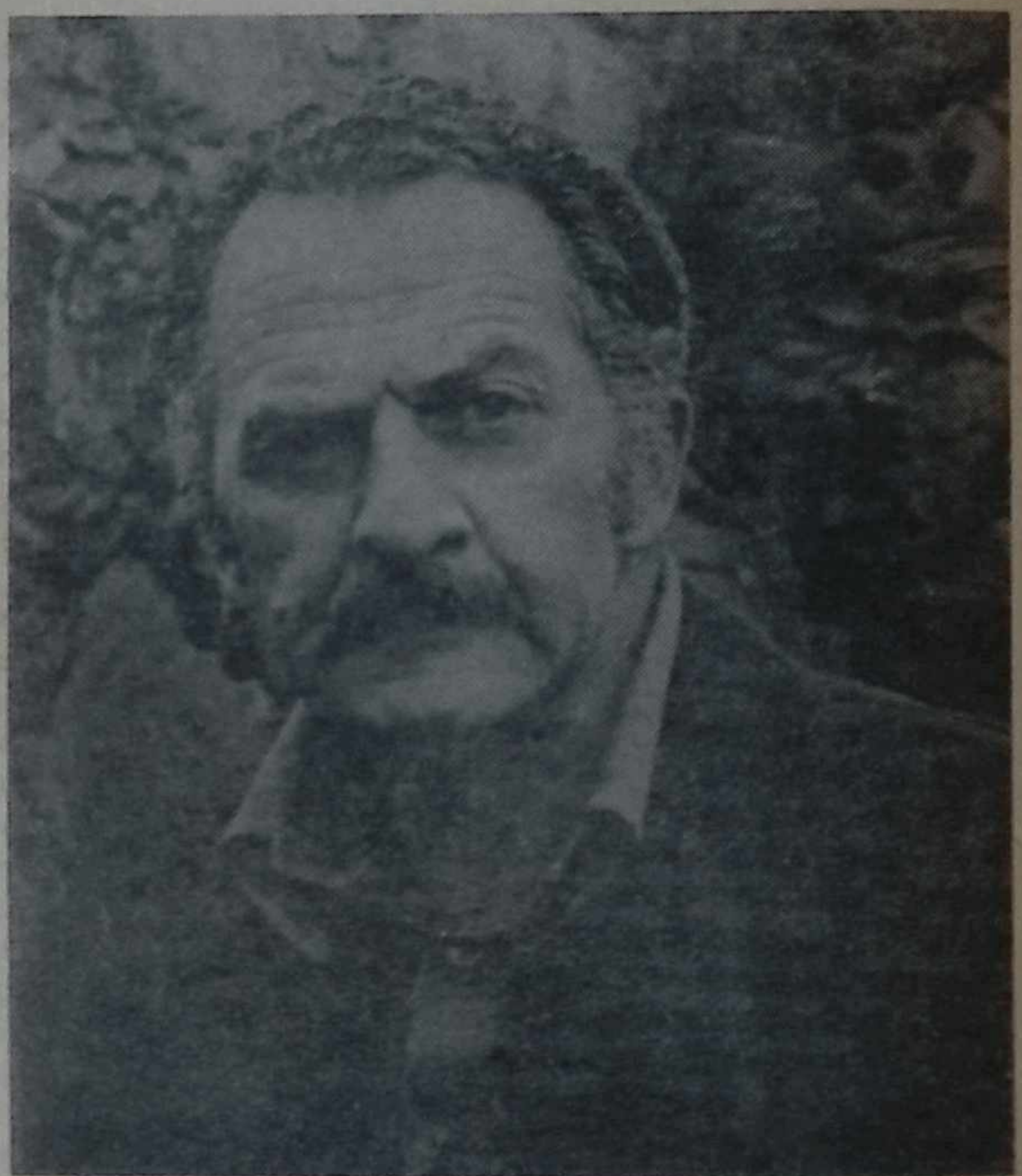
В пьесе вскрыто отношение Малисова к своему поступку. Видно, что этот человек стал таким из-за того, что не нашел в себе силы сопротивляться обстоятельствам.

В спектакле же Р. Микаберидзе не удается до конца показать эти качества Малисова. В решении образа артист идет от злого начала в своем герое, отчего образ Малисова становится несколько однобоким. Другому исполнителю этой роли Э. Сахлтхуцишвили тоже не удалось полностью вскрыть характер героя, данный драматургом.

Среди людей, имеющих влияние на ход событий, — Семенов. Сначала он производит на Шиндина впечатление простодушного человека, хотя на деле это человек необычайно гибкий и пробивной. Семенов лишь исполнитель воли начальства — его невозможно заставить вдуматься в суть дела, принять самостоятельное решение. Он как будто и сочувствует Шиндину, но тем не менее продолжает твердо стоять на позиции руководства, так как знает, что именно это ему важно для дальнейшего продвижения по службе.

В результате побеждает Семенов. Листы приемо-сдаточного акта не приобретают юридического права. Шиндин заявляет протест вынесенному решению. Г. Харабадзе очень искренне и непосредственно передает внутреннее состояние своего героя. На его лице, измученном предельным нервным напряжением, — выражение изумления. Ему ничего другого не остается, как крикнуть «Нет!» В драматической тональности звучания этого слова — точное ощущение сложившейся ситуации. Г. Харабадзе находит выразительные средства, точно передающие состояние Шиндина. Его герой попробовал все — от деляческого приема до добровольной исповеди перед Девятовым, но оказать влияние на окончательное развитие событий не сумел. Шиндин проиграл это сражение, но даже то, что он пробудил в других желание установить истину, является залогом будущего успеха, заставляет верить в конечное торжество правды.

ГУРАМ АСАТИАНИ



ГРУЗИНСКАЯ советская литература понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни видный писатель и критик, член КПСС, главный редактор журнала «Литературная Грузия», доктор филологических наук Гурам Леванович Асатиани.

Г. Асатиани внес значительный вклад в развитие грузинской советской литературы. Он всегда находился в гуще литературной и общественной жизни, своим творчеством служил обогащению и подъему нашей художественной культуры, чистоте грузинского литературного языка.

Широкая и многосторонняя эрудиция, безошибочное чутье и тонкий вкус снискали ему высокий авторитет и всенародное признание.

Г. Асатиани родился 12 сентября 1928 года в Тбилиси, в семье известного грузинского писателя Левана Асатиани. Он поступил на филологический факультет Тбилисского государственного университета, а в 1947 году продолжил учебу на филологическом факультете Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который и окончил в 1951 году. В тот же год был зачислен в аспирантуру Московского областного педагогического института.

После окончания аспирантуры вел плодотворную общественную деятельность. В 1956—58 годах Г. Асатиани был собственным корреспондентом органа Союза писателей СССР — «Литературной газеты» по Грузии, параллельно с этим читал лекции в Тбилисском педагогическом институте иностранных языков имени И. Чавчавадзе. С 1958 по 1960 год заведовал сценарным отделом киностудии «Грузия-фильм». С 1957 года до последних дней жизни Г. Асатиани — старший научный сотрудник Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели Академии наук Грузии, а с 1966 года — заведующий отделом новогрузинской литературы. В 1977 году Г. Асатиани был назначен главным редактором журнала «Литературная Грузия». И всюду, где бы он ни работал, всегда с честью носил имя грузинского советского литератора.

Г. Асатиани вел большую и плодотворную научную деятельность. В 1956 году за научный труд «Отображение борьбы рабочего класса во французском прогрессивном романе 30-х годов» ему была присвоена ученая степень кандидата филологических наук, а в 1977 году за монографию «От «Вепхисткаосани» до «Бахтриони» (эволюция грузинского поэтического мышления в XIX веке)» — доктора филологических наук. Под его руководством в Институте истории грузинской литературы было подготовлено несколько докторских и кандидатских диссертаций. Ученый с большим знанием дела руководил отделом новогрузинской литературы, принимал активное участие в научных сессиях, дискуссиях, симпозиумах как в нашей стране, так и за рубежом. Под его редакцией подготовлены IV том истории грузинской литературы и четыре тома сборника «Вопросы новогрузинской литературы», отражающие уровень научных исследований, проводимых в отделе.

В литературу Г. Асатиани вошел в 1950 году, когда в журнале «Мнатоби» была напечатана его первая литературно-критическая статья «Творчество Луи Арагона». С тех пор литературно-критические статьи, литературные портреты, исследования Г. Асатиани систематически публиковались в нашей литературной периодике, выходили отдельными книгами.

Сборники статей и исследований Г. Асатиани — такие, как «Тициан Табидзе», «Поэзия и поэты», «Грузинские лирики», «Критические диалоги», «Мерани и его автор» — заслужили признание и одобрение грузинского читателя.

Г. Асатиани успешно исследовал пути и тенденции развития грузинской литературы как XIX, так и XX веков.

Внимание читателя привлекли его статьи об Александре Чавчавадзе, Григоле Орбелиани, Николозе Бараташвили, Илье Чавчавадзе, Акакии Церетели, Александре Казбеги, Важа Пшавела.

Значительная часть литературно-критических статей Г. Асатиани посвящена актуальным вопросам современной грузинской поэзии. Галактион Табидзе, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили, Георгий Леонидзе,

Симон Чиковани, Ираклий Абашидзе, Мухран Мачавариани — вот далеко не полный перечень поэтов, творчество которых получило правильную и беспристрастную оценку в работах Г. Асатиани.

Соответствие содержания и формы, изменчивость и преемственность литературных тем, мотивов, эстетических взглядов, творческая лаборатория писателя, оригинальность стиля, система метафорических образов и версификационные особенности — вот примерно тот круг проблем, который охватывает литературное наследие критика.

В 1974 году Г. Асатиани за лучшие критические статьи года («Большие ожидания», «Три вечера с Демной Шенгелая») была присуждена совместная премия Союзов писателей и журналистов СССР, а за опубликованный в 1981 году в газете «Литературули Сакартвело» цикл статей «Шесть силуэтов» — ежегодная премия Союза писателей Грузии.

На VIII и IX съездах писателей Грузии Г. Асатиани избирался членом президиума правления Союза писателей Грузии. Он являлся членом редколлегии журналов «Литературное обозрение», «Цискари», газеты «Литературули Сакартвело», альманаха «Критика», председателем Совета по абхазской литературе при Союзе писателей Грузии, членом Совета по критике при Союзе писателей СССР.

Велика утрата грузинских литераторов. Светлая память о Гураме Асатиани, видном писателе и общественном деятеле, истинном патриоте своей страны, вечно будет жить в сердце грузинского народа.

Э. А. Шеварднадзе, Г. Н. Енукидзе, Т. Н. Ментешашвили, О. Е. Черкезия, Ж. К. Шартава, Н. Ш. Джанберидзе, О. В. Тактакишвили, Г. В. Бединеишвили, Н. Г. Черкезишвили, Н. А. Попхадзе, И. В. Абашидзе, Г. Г. Абашидзе, Н. В. Думбадзе, Э. С. Маградзе, Д. А. Алексидзе, Э. Д. Амашукели, Г. Ш. Орджоникидзе, Э. Н. Шенгелая, Г. Ш. Цицишвили, Д. А. Чарквиани, Ш. Г. Нишнианидзе, Т. И. Чиладзе, Р. С. Миминошвили, М. Т. Ласуриа, Ф. И. Халваши, К. И. Маргиев, Д. В. Квицаридзе, Г. И. Панджикидзе, А. С. Сулакаури, Х. М. Берулава, А. Г. Барамидзе, М. И. Мачавариани, Г. К. Натрошвили, В. В. Челидзе, Р. А. Маргиани, М. Ф. Поцхишвили, К. А. Лордкипанидзе, К. Р. Каладзе, Г. И. Мерквиладзе, С. Е. Чилая, Г. Е. Гвердцители, Д. Н. Гвинджилия, И. О. Андриадзе, Н. А. Жвания.

* * *

НЕТ больше с нами Гурама Левановича Асатиани, умного, доброго друга. Человека, который умел терпеливо выслушать, посоветовать, помочь... Нет того, кто превращал работу в праздник, редакцию — в родной дом, коллектив — в семью. Удивительная элегантность во взаимоотношениях с нами, с друзьями, с авторами, порой с незнакомыми людьми была спутником его жизни. Чуть хитроватая, с оттенком грусти и ожидания ответа улыбка почти никогда не сходила с его лица...

Всего в журнале не напечатаете. А почта у нас большая. И авторы разные — и по характеру, и по таланту. Но не было человека, который ушел бы из редакции обиженным или тем более оскорбленным. Главный редактор умел общаться с людьми.

С ним было интересно и радостно работать. С присущей ему щедростью, словно играючи, делился он своими огромными знаниями. Его остроумие и доброжелательность самый трудный разговор превращали в дружескую беседу.

Он сумел и больничную палату превратить в рабочий кабинет, куда мы до последнего дня регулярно наведывались, нагруженные папками, планировали и спорили, обменивались новостями и шутили.

И не верилось, что этот горький день когда-нибудь настанет, потому что он сам не верил, продолжая работать и строить планы...

В редакцию идут телеграммы от писателей, ученых, работников искусства, авторов, читателей с выражениями соболезнования в связи с постигшим нас горем. Все, кто знал Гурама Асатиани, понимают, сколь тяжела наша утрата. Его больше нет, но для нас он всегда останется большим учителем — учителем жизни, литературы, бесстрашия и человеколюбия.

, КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ»

ГУРАМ! Могли ли мы, твои друзья, поверить в твою болезнь, когда ты сам в нее не верил?!

Целый месяц пролежали мы — ты и я — в одно и то же время, в одной и той же больнице — на разных этажах. Мы вели оживленную переписку, веселую, но с призвуком печали. И ты, пораженный смертельным недугом, находил силы ободрять и обнадеживать меня. Каждое твое письмецо прибавляло мне жизнь и надежду, а тебе, оказывается, сокращало дни.

И вот — мое последнее письмо, Гурам, последнее письмо тебе. Я знаю, оно останется без ответа, и все же хочу спросить тебя: помнишь, случилось так, что мы не виделись одну неделю, и когда я пришел, наконец, тебя проведать, ты мне пожаловался: где ты столько времени, если бы ты знал, как я соскучился по тебе! Что же делать теперь мне, Гурам, что мне делать, когда я буду тосковать по тебе и никогда уже не смогу тебя увидеть?!

Всякий раз, как я заканчивал новую вещь и она появлялась в печати, я боялся встречи с тобой. Боялся твоей улыбки с лукавинкой, таящейся в усах, боялся твоего пронизывающего взгляда. А вдруг ему не понравилось, и он посмеивается надо мной, — вот чего я боялся. А теперь? Что мне делать теперь, если я утрачу это чувство страха?

Я всегда ждал и с увлечением прочитывал твои необычные статьи, полные удивительно верных наблюдений, открытий, полные правды. Что же мне теперь делать, Гурам, ведь мне так будут нужны твои умные, обжигающие, точно удар кнута, и одновременно ласковые, полные участия слова!

Твой сдержанный, тихий смех, как бы удивленный, вопрошающий взор, твое восхищение и твой гнев — где и у кого мне все это искать, Гурам?!

Из нашего братства ты ушел первым. Ушел, исполнив свой гражданский, человеческий долг на этой земле. Ты ушел высоким и светлым, как и жил, — с открытым челом. И тут ты оказался, к несчастью, первым. А мне на долю, — будто не исполнилась еще чаша моих скорбей, будто не хватало еще одной, горчайшей, — мне на долю выпало быть председателем твоей похоронной комиссии!..

Гурам, тебе осталось еще так много сказать, тебе — уже столько сказавшему в свои пятьдесят четыре года.

Более полугода прикованный к постели, ты все равно умер стоя — как и подобает сыну отечества. Как в поле в грозу от удара молнии сгорает и падает дерево, так и ты умер, не опускаясь на колени, умер, сгорая на негасимом огне любви к своему делу, к своему народу, к своим друзьям, к книгам.

Свершилось то, чего все мы со страхом ждали, — то, к чему неудержимо и неуклонно вела тебя болезнь. И как ни безжалостны покажутся тебе мои слова, Гурам, — мы ждали этого раньше... ждали из безграничной любви к тебе, потому что знали о беспощадности страшного недуга, снедавшего тебя, недуга, против которого все бессильно. Мы боялись, чтобы страдания не одолели, не сломили тебя, во всем такого сильного, стойкого и неустрашимого.

...И было так, что надежда вошла в наши сердца, и мы стали строить замки мечты. Но потом, когда смерть все-таки пришла, ты не испугался, нет, ты удивился и рассердился. И ушел из этого мира удивленным и рассерженным на смерть.

С такими, как ты, народ не прощается никогда. Да и я — как я могу с тобой проститься, если ты для меня никуда не ушел и полностью весь остаешься во мне! Проститься с тобой все равно, что проститься с самим собой.

Может быть, вернее и лучше сказать так:

— Пока живы мы, твои друзья, и пока ты жив в каждом из нас, ты не умер и не умрешь. А когда и мы покинем этот мир и придем к тебе, о твоей памяти, о твоём прекраснейшем имени позаботятся твои потомки, твои книги и твой родной народ. Несомненно так и будет. В этом и заключается бессмертие, мой Гурам!

Нодар ДУМБАДЗЕ

* * *

НАША литература понесла невосполнимую утрату.

Гурам Асатиани являлся одним из ведущих творцов новейшей грузинской критической мысли, все еще полный неистраченной энергии.

Перед ним лежал большой жизненный путь. Большой потому, что его таланту и глубокой эрудиции под стать были только большие дороги. Нам, его старшим собратьям по перу, верилось, что сыну такого прославленного отца, продолжателю его дела и славного имени, ходить только по большим дорогам.

Широки и многосторонни были литературные и общественные интересы Гурама Асатиани. Несмотря на короткую жизнь, он многое успел сказать своему читателю, и не только в области современной и классической литературы, но и в области общественной. Вопросы, поднимаемые им, всегда отличались остротой, своеобразным осмыслением.

Особенно плодотворно он работал в последние годы, и тем больнее и горше наша утрата.

Как облегчить мне горе его семьи, как вселить в нее надежду во имя памяти Гурама, моего незабвенного друга?!

Ираклий АБАШИДЗЕ

* * *

БЕЗВРЕМЕННАЯ гибель Гурама Асатиани пробуждает чувство горького сожаления у каждого, кому дорог сегодняшний и завтрашний день грузинской литературы, ее авторитет и резонанс во всесоюзном масштабе.

Бесконечно влюбленный в свою родину, широкообразованный талантливейший и обаятельнейший человек, он воплощал в себе качества, соответствовавшие тому высокому представлению о грузинской интеллигенции, которое издавна сложилось у друзей и почитателей Грузии.

Где бы ни был Гурам — в Москве или Киеве, Вильнюсе или Таллине, на Филиппинах или в Португалии, он выступал не только как поборник советской многонациональной литературы, но и как замечательный пропагандист и проповедник грузинской литературы и искусства, приумножающий число друзей и почитателей грузинской культуры. Аристократ по натуре, он всегда был готов пожертвовать собой во имя дружбы. Это прекрасное чувство было развито в нем до крайности, и признательные за его доброе сердце многочисленные друзья отвечали ему такой же верностью.

Безмерно любивший жизнь, Гурам был эпикурейцем и всегда показной беззаботностью и щедрым юмором старался облегчить тяготы жизни близким и друзьям. Уже прикованный к смертному одру, он продолжал заботиться о настроении окружающих, не хотел беспокоить их. Нечеловеческим напряжением воли пытался убедить родных и близких в том, что ему гарантирована вечная жизнь и рано думать о смерти.

Его недолгая, но красивая жизнь была замечательным примером борьбы со смертью, с тленом, примером противопоставления смерти неповторимости своего таланта и личности.

Его статьи всегда привлекали читателей остротой, страстностью, взволнованностью. Его утонченный вкус и оригинальность мышления проявлялись не только в выборе темы и проблемы, но и в культуре написания, в стиле, которые отличали его среди тысячи.

Гурам рос в особой атмосфере, атмосфере творческой взволнованности, царившей в семье его отца — нашего незабываемого друга, известного литератора Левана Асатиани. И атмосфера эта оставила на нем, на его индивидуальности глубокий неизгладимый след. У него было много друзей в кругу старшего поколения грузинских писателей и деятелей искусства.

Нас, друзей и почитателей Гурама, безмерно огорченных его смертью, утешает одна-единственная мысль: Гурам прожил короткую, но достойную жизнь, и родина и любимый им народ никогда его не забудут.

Григол АБАШИДЗЕ

ПОСЛЕДНИЕ несколько лет Гураму Асатиани не давала покоя жажда познания глубинных пластов грузинского национального характера. Сегодня мы уже знаем, что это были последние годы его жизни, знаем и то, что в те дни, когда эта жажда воплотилась в прекрасную книгу «У истоков», течение его жизни как-то зловеще изменило свой цвет...

Не удивительно, что сегодня у одного из нас родилась именно та, «асатиановская» жажда познания, и на этот раз познания тайны грузинского характера сквозь призму феномена Гурама Асатиани.

Есть личности, сфера профессионального и нравственного влияния которых не ограничивается узким кругом коллег и друзей. Образ жизни, внутренняя закономерность, логика их существования, даже ошибки имеют такой резонанс, что постижение этой внутренней закономерности выходит далеко за пределы чисто дружеского интереса.

Главное, чем мы обязаны Гураму Асатиани, — это уравнение повседневной и литературной этики. Не единожды запятанной профессии критика Гурам Асатиани придавал достоинство и возвышенность, так как доказал, что это неблагородное ремесло может быть возведено в ранг большой литературы, если в критике объединяются благородная душа и облик, вкус и интуиция, эрудиция и любознательность, эластичность интеллигента и принципиальность профессионала. Благодаря этому счастливому сочетанию Гурам Асатиани оставил неизгладимый след в современной грузинской литературе. Не только своими книгами и исследованиями, не только своими яркими выступлениями и редким обаянием — всем этим вместе он привнес новые критерии в нашу повседневную и литературную жизнь. Может быть, его пример и не превратил в рыцарей антиподов Гурама Асатиани, но тем не менее сила его воздействия вынуждала многих из них хотя бы для виду исполнять тот или иной рыцарский ритуал. А по концепции Гурама Асатиани, в этой «игре» проявлялись глубинные черты грузинского характера, и, стало быть, она заслуживала пристального внимания.

Для того, чтобы негрузину легче было понять, как сохранился до сегодняшнего дня наш народ, каковы его лучшие внешние и внутренние качества, какая безудержная страстность и тайная глубина сочетаются в грузинском характере — достаточно было познакомиться с Гурамом Асатиани.

Многие и многие наши далекие и близкие друзья, соседи, коллеги с восторгом и любовью смотрели на Гурама Асатиани —

и тогда, когда его представляли еще как сына Левана Асатиани, и тогда, когда к его имени прибавился эпитет молодого талантливое критика, и тогда, когда он стал главным редактором «Литературной Грузии» и признанным лидером корпорации грузинских критиков.

Гурам Асатиани жил не щадя себя; в русло, проложенное его бурными пятьюдесятью четырьмя годами, вместились бы несколько размеренных жизней; он относительно мало писал, но его книги полны той же внутренней силы, что и его жизнь.

Гурам Асатиани жил как рыцарь. Рыцарем остался он и во время своей болезни, когда—уже обреченный—находил силы для привычной своей улыбки, шутки или же комплимента...

До последних минут своей жизни Гурам Асатиани не изменил самому себе, и если раньше, в лучшие свои дни, сам того не ведая, он подавал нам пример, как надо рыцарски жить, теперь последними своими днями он научил нас, как надо рыцарски умирать.

Заза АБЗИАНИДЗЕ

ХРОНИКА ● ХРОНИКА ● ХРОНИКА ● ХРОНИКА ● ХРОНИКА

ЛАУРЕАТЫ ИЗВЕСТНЫ

КОМИТЕТ по Государственным премиям имени Руставели в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров Грузинской ССР присудил премию Совета Министров Грузинской ССР имени В. Маяковского за 1982 год поэтессе Далиле Бедианидзе за публицистическую поэму «Тысяча девятьсот восемьдесят второй», опубликованную в газете «Комунисти» 27 апреля 1982 года. Премии также удостоен узбекский поэт Усман Азимов за публицистические стихи и баллады: «О, надо понять человека...», «Че Гевара», «Подполковник Фатеев», «Песня о моем отце», «Баллада двадцатых годов», «Баллада о сороковых».

ПАМЯТИ К. ГАМСАХУРДИА

В КЛУБЕ ГПИ имени В. И. Ленина состоялся вечер, посвященный памяти крупнейшего грузинского прозаика Константина Гамсахурдиа.

В исполнении участников вечера — народных артистов Грузии З. Кверенчхладзе и И. Учанешвили, вокального ансамбля ГПИ под управлением Ю. Кублашвили — прозвучала ополитизированная писателем история трагической любви Шорены и зодчего Константина Арсакидзе, создателя Светицховели — шедевра грузинской классической архитектуры.

О силе художественного ма-

стерства и эрудиции замечательного писателя, непреходящем значении творчества К. Гамсахурдиа на вечере говорили писатели и критики, поэты и литературоведы.

На вечере были показаны цветные слайды с изображением фресок Светицховели и Гелати, древнегрузинских манускриптов, что явилось своеобразной иллюстрацией к изображенной писателем эпохе.

ОБСУЖДАЕТСЯ РОМАН

В СЕКЦИИ критики Союза писателей Грузии состоялось заседание, на котором разбирался роман Гурама Дочанашвили «Большой аметист».

Заседание вступительным словом открыл председатель секции критики Гурам Гвердцители.

Перед собравшимися также выступил критик Коба Имедашвили. Он подробно рассказал об архитектонике, персонажах романа, об особенностях писательского мастерства автора.

В прениях приняли участие А. Бакрадзе, Г. Петриашвили, Б. Маглакелидзе, Г. Стуруа и другие.

Все выступившие единодушно отметили несомненные достоинства романа.

В заключение перед собравшимися выступил автор романа «Большой аметист» Г. Дочанашвили.

КОСТА ХЕТАГУРОВУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ТБИЛИСИ на пересечении улиц Льва Толстого и Коста Хетагурова состоялся митинг, посвященный закладке памятника основоположнику осетинской литературы, выдающемуся общественному деятелю, революционному демократу Коста Хетагурову.

Здесь собрались представители общественности столицы Грузии, деятели литературы и искусства, ученые и студенты.

Митинг вступительным словом открыл председатель исполкома Тбилисского городского Совета народных депутатов Г. Габуния.

О непреходящем значении творчества К. Хетагурова, о его замечательных творениях, живущих в сердцах народа, говорили на митинге первый секретарь Октябрьского райкома партии А. Азиров, писатель Г. Натрошвили, осетинский поэт Р. Асаев и другие.

На митинге присутствовали первый секретарь Тбилисского горкома КП Грузии Т. Ментешаши, второй секретарь ТК КП Грузии Н. Гургенидзе.

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

ПО ИНИЦИАТИВЕ тбилисского филиала Центрального музея В. И. Ленина и Республиканского общества любителей книги состоялось обсуждение двух книг писателя В.

Алпенидзе «Португальский дневник» и «Бразильские диалоги».

Перед собравшимися в зале заседаний музея выступили профессор Р. Мишвеладзе, директор Института истории партии при ЦК КП Грузии, филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, доктор исторических наук Д. Стурва, директор Тбилисского филиала Центрального музея В. И. Ленина Ф. Махарадзе, доцент А. Авалнаини и другие.

«Португальский дневник» — это рассказ о IX съезде коммунистов Португалии, в работе которого принимала участие делегация КПСС во главе с кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе.

Книга содержит интересные сведения об истории, культуре и литературе Португалии.

Вышедшая в издательстве «Мерани» в 1981 году книга «Бразильские диалоги» рассказывает о визите в Бразилию делегации Верховного Совета СССР, которую возглавлял кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Грузии Э. А. Шеварднадзе. Читатели имели возможность совершить увлекательное путешествие по Бразилии, ознакомиться с жизнью одной из крупнейших стран Латинской Америки.

В заключение встречи В. Алпенидзе рассказал о дальнейших творческих планах, о своей литературной деятельности.

ОБ АВТОРАХ ЭТОГО НОМЕРА

ГАГУА Хута Лаврентьевич. Род. в 1935 г. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Горького. Поэт. Заместитель председателя совета по грузинской литературе Правления Союза писателей СССР. Автор более десяти поэтических книг на грузинском и русском языках. Стихи Х. Гагуа переведены на многие языки народов СССР.

КАПАНАДЗЕ Гурам Всеволодович. Род. в 1934 г. в Тбилиси. Окончил медицинский институт. Старший научный сотрудник НИИ терапии Грузии. Кандидат медицинских наук. Экс-чемпион Грузии по теннису. Писать начал в студенческие годы. Первые рассказы опубликованы в 1976 г. В 1980 г. в изд-ве «Мерани» вышла книга его рассказов. В нынешнем году «Миатоби» (№ 6) печатается первый его роман.

МЕГРЕЛИДЗЕ Губаз Иосифович. Род. в 1957 г. Закончил

театроведческий факультет Тбилисского государственного театрального института им. Ш. Руставели. Работает в области истории театра.

МИНДАДЗЕ Бидзина Алексеевич. Род. в 1940 г. Окончил Тбилисский медицинский институт. Поэт. Автор нескольких книг на грузинском языке. Стихи Б. Миндадзе переведены на русский язык и на языки народов СССР.

СИДОРОВ Евгений Юрьевич. Род. в 1938 г. Окончил юридический факультет МГУ. Критик, литературовед. Автор книг «О целевом многообразии современной советской прозы» (1977), «Время, писатель, стиль» (1978), «На пути к синтезу» (1979), «Страницы и судьбы» (1982). Заместитель председателя Совета по грузинской литературе Правления Союза писателей СССР.

6 28/131

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Гурам АСАТИАНИ (главный редактор),

Заза АБЗИАНИДЗЕ, Рევაз АСАЕВ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Гурам ДОЧАНАШВИЛИ, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Натела КАРАШВИЛИ (ответственный секретарь), Эмзар КВИТАИШВИЛИ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Владимир МАЧАВАРИАНИ, Отар НОДИЯ, Лия СТУРУА, Эммануил ФЕЙГИН, Гурам ХАРАИДЗЕ (заместитель главного редактора), Георгий ЦИЦИШВИЛИ.

ТЕЛЕФОНЫ:

Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отдел прозы — 93-31-43, отдел поэзии и искусств — 93-31-43, отдел критики и литературоведения — 93-65-19, отдел публицистики и очерка — 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

„ლიტერატურული პრესა“

— ყველგვარი ლიტერატურულ-მხატვრული და საზოგადოებრივ პოლიტიკური თემატიკა (რუსულ ენაზე)

ბათუმის 1957 წლის იანვარი. № 7 ივლისი, 1982 წ.

Сдано в набор 2.VI.82. Подписано к печати 19.VII.82. Формат 84×108¹/₃₂. УЭ 01251. Высокая печать. Печ. л. 7.0 — усл. печ. л. 11.97; Уч-изд. л. 9.4. Тираж 8600 экз. Заказ № 1434. Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ

Тбилиси, ул. Ленина, 14.

«КНИЖНЫЕ НОВИНКИ»

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

АБАШИДЗЕ Г. «Лашарела». «Долгая ночь». «Цотნэ, или Падение и возвышение грузин». Романы. Пер. с груз. Москва, 1982. 847 с. 10.000 экз. 3 р. 80 к.

ИОСЕЛИАНИ О. «Черная и Голубая река». Роман. Пер. с груз. И. Борисовой. Москва, 1982. 335 с. 30.000 экз. 1 р. 20 к.

«МЕРАНИ»

ДУМБАДЗЕ Н. «Кукарача». Повесть. Пер. с груз. З. Ахвледиани. Тбилиси, 1982. 102 с. 40.000 экз. 30 к.

ЕЛИГУЛАШВИЛИ Э. «Настоящее время». Лит. очерки и статьи. Тбилиси, 1982. 284 с. 2.000 экз. 70 к.

65 კ.

ИНДЕКС 76117

